

# НАСЛЕДНИКИ ВЛАСТИ

Петровский период правления вошел в историю как время окончательного оформления абсолютизма — режима, при котором власть безраздельно находилась в руках монарха. Завершение становления абсолютизма выразилось в победе бюрократических начал во всех звеньях управления, что привело к ликвидации последних институтов сословно-представительной монархии — Боярской думы и приказов; созданию сложной и разветвленной системы местных органов власти, подчиненных Сенату; упразднению некогда оппонировавшего самодержавию института патриаршества; изданию целого корпуса бюрократических установлений; наконец, к жесткой регламентации общественной и личной жизни подданных и формированию полицейского государства.

Сам Петр I в полной мере олицетворял неограниченного монарха, бесконтрольно распоряжаясь имуществом и даже жизнью своих подданных, по своему усмотрению назначая или увольняя чиновников всех рангов, держа в своих руках все нити исполнительной, законодательной и судебной власти, решая без чьего-либо ведения или контроля любые внутри- и внешнеполитические дела. Апофеозом самодержавной формы правления стал закон о праве монарха назначать наследника по своей воле, не считаясь ни с чьим мнением или традицией.

Концепция абсолютизма Петра I включала в себя как неизменный элемент и определенные обязанности абсолютного монарха. Петр видел их в личном служении государству, в осуществлении разработанной им применительно к условиям России концепции «общего блага», понимаемой как достижение благополучия в стране через служение «государственному интересу» каждого сословия в соответствии с определенным ему местом в сословной иерархии, на верху которой находилось дворянство. Именно в петровский период были расширены и законодательно оформлены преимущества дворянства, что привело к усилению влияния господствующего класса в экономической и политической области при одновременном уменьшении его обязанностей перед государством.

Последующее развитие абсолютизма в России шло по пути

сохранения неприкосновенности самодержавной власти, забвения в целом (как показала жизнь) эфемерных обязанностей монарха в деле служения «государственному интересу», усиления явно негативных сторон не ограниченной никем и ничем власти одного человека над миллионами своих подданных. Время Елизаветы стало в этом смысле примечательным.

Став абсолютным монархом, Елизавета столкнулась с рядом проблем, порожденных всей предшествующей историей абсолютизма в России. Совершив государственный переворот 25 ноября 1741 г., Елизавета свергла царствующего монарха. Именно поэтому вопрос о ее правах на престол был необычайно острым и актуальным. Он был затронут уже в первом манифесте Елизаветы от 25 ноября, где ее права на престол обосновывались таким образом: во время регентства Бирона и Анны Леопольдовны возобладали «как внешние, так и внутрь государства беспокойства и непорядки»; из-за этого «все наши как духовного, так и светского чинов *верные подданные*, а особенно лейб-гвардии наши полки всеподданнейше и единогласно нас просили, дабы мы для пресечения всех тех происшедших и впредь опасаемых беспокойств и непорядков, яко по крови ближняя, отеческий наш престол всемилостивейше воспринять соизволили, и по тому нашему законному праву, по близости крови к самодержавным нашим вседрожайшим родителям... и по их всеподданнейшим наших верных единогласному прощению, тот наш отеческий всероссийский престол всемилостивейше воспринять соизволили»<sup>1</sup>.

Три дня спустя — 28 ноября — вышел указ, в котором более пространно обосновывалась законность прав Елизаветы на престол ее отца и матери. В указе появились ссылки на так называемый Тестамент — завещание Екатерины I (1727 г.), согласно которому (в интерпретации его текста составителями указа 28 ноября) Елизавета якобы имела бесспорное право на престол после смерти Петра II, а также новые детали: интриган А. И. Остерман скрыл Тестамент, вследствие чего на престол была выбрана «мимо» Елизаветы Анна Ивановна; через десять лет тот же Остерман сочинил «Определение о наследнике» — сыне Анны Леопольдовны Иване Антоновиче, хотя он «никакой уже ко всероссийскому престолу принадлежащей претензии, линии и права» не имел, как и его братья и сестры<sup>2</sup>.

Итак, права Елизаветы на престол обосновывались, во-первых, волеизъявлением подданных, просивших Елизавету взять власть в свои руки; во-вторых, близостью родства («по крови») Петру Великому и, в-третьих, Тестаментом Екатерины I. Однако позже — в манифесте о коронации 1 января 1742 г. — упоминалось лишь одно обоснование, а именно второе: «Мы яко по крови ближняя на наследный родительский наш всероссийский престол...»<sup>3</sup> Примечательно, что в важнейших государственных актах последующего времени ссылка на «близость по крови» становится единственным обоснованием прав Елизаветы на пре-

стол. Это не случайно, ибо другие обоснования сколько-нибудь веским аргументом в пользу прав Елизаветы быть не могли.

Довольно быстро Елизавета отказалась от ссылки на просьбы подданных, так как, став императрицей, «гвардейская кума» постаралась поскорее забыть, кому она обязана властью. После указа 28 ноября 1741 г. в государственных актах даже не упоминался Тестамент 1727 г., ибо из его текста вытекало, что Елизавета взошла на престол вопреки последней воле своей матери. Дело в том, что Елизавета не имела прав на престол ни после смерти Петра II в 1730 г., ни после смерти Анны Ивановны в 1740 г.

Как известно, Петр I отменил — в немалой степени под влиянием дела царевича Алексея — старый порядок престолонаследия, согласно которому престол наследовался по прямой мужской исходящей линии, и ввел новый порядок, позволявший монарху назначать наследником того, кого он сочтет достойным наследия. Петр умер, так и не назвав имя своего преемника. Екатерина I, подписывая Тестамент, пыталась увязать в нем новый и старый законы о престолонаследии: ближайшим наследником провозглашался сын царевича Алексея великий князь Петр Алексеевич (Петр II), но затем в Тестаменте говорилось следующее: «...ежели великий князь без наследников престанется, то имеет по нем цесаревна Анна (Анна Петровна — старшая дочь Петра I.— *E. A.*) со своими десцендентами (потомками.— *E. A.*), а по ней цесаревна Елизавета с ея десцендентами, а потом великая княжна Наталья Алексеевна (дочь царевича Алексея.— *E. A.*) с ея десцендентами наследовать, однако ж мужского пола наследники пред женскими предпочтение имеют»<sup>4</sup>. Ко времени смерти Петра II умерли Наталья Алексеевна и Анна Петровна, но Анна в 1728 г. родила в браке с голштинским герцогом Карлом Фридрихом мальчика — Карла Петра Ульриха. Иначе говоря, в 1730 г. Елизавета, согласно завещанию своей матери, не имела прав на престол, так как следовала за «десцендентом» своей старшей сестры.

Кстати, голштинские дипломаты после смерти Петра II пытались опротестовать решение верховников о выборе на русский престол курляндской герцогини Анны Ивановны ссылкой на Тестамент. Но демарши дипломатов не помогли, ибо решение верховников полностью отвечало их политическим целям. Да и впоследствии дипломаты, знавшие содержание Тестамента, не раз писали о преимущественных правах юного племянника перед теткой. Так, в ноябре 1742 г. француз д'Алион сообщал, что герцог Голштинский, «как сын старшей дочери Петра Первого, имеет больше прав на престол, нежели его младшая дочь». Когда осенью 1742 г. Елизавета издала манифест о престолонаследии, согласно которому преемником объявлялся Петр Федорович, саксонский дипломат Пецольд не преминул заметить, что в манифесте «не сделано ни малейшего намека на завещание импе-

ратрицы Екатерины, которым в первом манифесте царствующей императрицы доказывалось ее право на престол, но из которого, с другой стороны, также следует, что в настоящее время престолом должен владеть молодой герцог, так как он принял греко-христианскую веру<sup>5</sup>.

Не удивительно, что ссылка на Тестамент была изъята из числа аргументов прав Елизаветы, а сам Тестамент так и не был опубликован в царствование дочери Петра.

Не имела Елизавета преимущественных прав и перед Иваном Антоновичем при возведении его на престол в 1740 г. В 1732 г. по указу Анны Ивановны Елизавета, как и все другие подданные, присягнула в верности тому наследнику, который будет определен Анной. Этим актом императрица восстановила в прежнем значении указ Петра I о праве самодержца назначать преемника по собственному усмотрению и одновременно ликвидировала юридическую силу Тестамента. Согласно букве закона Петра, Анна Ивановна, как самодержица, имела право это сделать. Миних на вопрос следственной комиссии 1742 г., почему он «не защищал» Тестамент при Анне Ивановне, не без основания отвечал: «...он разумел, что надобно поступать по указу настоящего государя, а не прежних монархов»<sup>6</sup>. Таким образом, Анна имела право назначить своим наследником Ивана Антоновича или кого-либо другого, а Елизавета не только не имела прав на престол по Тестаменту, но и нарушила утвержденный ее отцом закон о престолонаследии.

Поэтому понятно, как важно было для Елизаветы предотвратить контрмеры претендентов, имевших на престол больше прав, чем она.

Особое беспокойство Елизаветы вызывал голштинский герцог Карл Петр Ульрих, живший в Киле — столице северогерманского герцогства Голштения. 5 февраля 1742 г., два месяца спустя после переворота, майор Н. Ф. Корф срочно доставил в Петербург 13-летнего племянника Елизаветы вместе с его обер-гофмаршалом О. Ф. Брюммером. Герцога крестили по православному обряду, нарекли Петром Федоровичем и затем объявили наследником престола. Такое быстрое развитие событий было обусловлено прежде всего соображениями безопасности власти Елизаветы. Существование вдали от России внука Петра Великого беспокоило еще Анну Ивановну. В 30-е годы XVIII в. в русских правительственные кругах вынашивались планы брака голштинского «чертушки» (так звала герцога Анна Ивановна) и Анны Леопольдовны с целью предупредить осложнения с престолонаследием в случае смерти Анны Ивановны. Елизавета одним ударом решила голштинскую проблему, призвав племянника в Россию и провозгласив его наследником.

Оперативность действий Елизаветы была в немалой степени обусловлена внешнеполитическими обстоятельствами. Дело в том, что к началу 40-х годов династическая ситуация в Швеции

оказалась не менее запутанной, чем в России, и у Карла Петра Ульриха были шансы стать шведским королем. Династические связи так причудливо переплелись, что внук Петра I являлся одновременно внучатым племянником Карла XII, ибо бабкой Карла Петра Ульриха со стороны отца была старшая сестра шведского короля-полководца принцессы Гедвиги София. Во время переговоров шведов и французов с Елизаветой в конце 1740 — начале 1741 г. затрагивался вопрос об участии голштинского герцога в военных действиях против русских на стороне шведов, так как шведское командование полагало, что одно присутствие в войске внука Петра Великого деморализует русскую армию и облегчит переворот Елизаветы.

После прихода к власти Елизавета, естественно, не хотела, чтобы шведы использовали против нее племянника. Ведь став шведским королем, он, ссылаясь на Тестамент и на право наследования по прямой мужской линии, вполне мог претендовать и на престол своего русского деда. Ситуация могла возникнуть необычайно острой, а этого Елизавета допустить не могла и не допустила. Английский посол Финч, обобщая ходившие по Петербургу слухи, писал в январе 1742 г.: «В торопливости, с которой выписали герцога голштинского, некоторые видят признак расположения к нему со стороны государыни, другие же — опасение, как бы он не сделался игрушкой в руках Франции и Швеции, орудием против нее, как сама она явилась их орудием против предшествующего правительства, выиграв при этом несомненно больше, чем ожидала, и по всей вероятности — даже больше, чем желала»<sup>7</sup>.

Вот поэтому 7 ноября 1742 г. в придворной церкви московского Яузского дворца в присутствии всех высших чинов государства герцог Карл Петр Ульрих был крещен в православие и вышел из церкви как Петр Федорович, крестник и наследник Елизаветы. Примечательной чертой ритуала была публичная присяга всех присутствовавших сановников и генералов в верности наследнику всероссийского престола. Но, сделав Петра Федоровича своим наследником, Елизавета полностьюнейшими притязаниями чинить не хотим, но оныя короне шведской совершенно уступаем»<sup>8</sup>.

Вместе с тем Петр Федорович лишь формально считался наследником русского престола. Он не имел связей в обществе, не оказывал влияния на государственные дела, ибо был отстранен от них и находился под постоянным бдительным надзором своей августейшей тетушки. Финч по этому поводу отмечал 23 января 1742 г.: Елизавета, «захватив юного герцога в свои руки, увер-

на теперь, что укрепилась на престоле, что теперь ей остается только короноваться. Для этого обряда (осуществление которого, кстати сказать, Елизавета тоже не затягивала.—*E. A.*) она и собирается в Москву»<sup>9</sup>.

Кроме голштинской проблемы существовала не менее, а даже более острая брауншвейгская проблема. Она формулировалась так: что делать с ребенком-императором и Брауншвейгской фамилией? Согласно указу 28 ноября 1741 г., свергнутый император с родителями и сестрой должен был покинуть пределы России и отправиться в Брауншвейг. На содержание семейства предполагалось назначить специальную пенсию. В тот же день генерал-поручик В. Ф. Салтыков получил инструкцию, где говорилось, что он должен доставить Брауншвейгскую фамилию до Митавы — столицы независимого от России герцогства Курляндского — и в пути оказывать «их светлостям должное почтение, респект и учтивость... дабы они высочайшею милостию причину имели выхваляться и признание свое в том засвидетельствовать». Указы о подготовке помещений, подвод и припасов были срочно разосланы воеводам и комендантам городов, через которые пролегал путь кортежа. Но на следующий день Салтыков получил другую, тайную инструкцию. Она предписывала ему не мешкая, скрытно, минуя по ночам города, доставить арестованных к курляндской границе и выпроводить их за пределы России, а в дороге строго следить за тем, чтобы пленники не вступали ни с кем в разговоры и не вели переписку.

Глубокой ночью 29 ноября Брауншвейгское семейство в сопровождении эскорта в 100 человек выехало из столицы. Вначале они двигались быстро, но вскоре кортеж нагнал курьер, передавший В. Ф. Салтыкову новую инструкцию, полностью отменявшую две предыдущие: «Хотя данною вам секретною инструкциею и велено вам в следовании вашем никуда в город не заезжать, однакож — ради некоторых обстоятельств — то через сие отменяется, а имеете вы путь продолжать как возможно быстрее и держать раздахи на одном месте дни по два; по прибытии же в Нарву под претекстом несобрания подвод и прочих неисправностей пробыть тамо не меньше как 8 или 10 дней». Прибыв в Ригу, Салтыков должен был ждать особого указа «о следовании до Митавы»<sup>10</sup>.

Чем объяснялось появление третьей инструкции и о каких «некоторых обстоятельствах» шла в ней речь?

Вполне возможно, что появление новой инструкции было связано с решением о вызове из Голштении племянника императрицы. Послав за ним специального курьера, Елизавета не скрывала перед Шетарди своего беспокойства относительно благополучного прибытия герцога в Россию, ибо путь его пролегал через владения родственников Брауншвейгского семейства. Французский посол предложил Елизавете доставить герцога в Россию через Францию и далее на корабле до Петербурга. Это предло-

жение Елизавета отвергла, так как герцог мог задержаться в пути на неопределенное время. И вот, когда Брауншвейгское семейство было уже в дороге, кто-то высказал мысль, что целесообразно на время задержать брауншвейгцев в пределах России как заложников, с тем чтобы голштинский герцог мог беспрепятственно проехать через германские княжества. Не исключено, что и эта мысль принадлежала Шетарди. Он, в частности, сообщал в Париж, что предложил Елизавете увеличить втрой конвой брауншвейгцев, для того чтобы замедлилось их движение. Уловка удалась. Английский посланник Финч писал: «...действительно, они (брауншвейгцы.—*E. A.*) не могут совершать большие переходы с эскортом в 300 человек!» Для огромного конвоя не хватало лошадей, и отправка Брауншвейгского семейства с каждого яма сильно затягивалась.

Предположение о заложничестве подтверждается другими фактами. Так, по мнению прусского посланника А. Мардефельда (которое разделял и английский посланник Финч в донесении 26 декабря 1741 г.), младший брат принца Антона Ульриха — Людвиг Эрнст был задержан в Петербурге на некоторое время «в качестве заложника из опасения, как бы король прусский не возбранил герцогу голштинскому проезд через свои владения или не задержал его в случае попытки проехать самовольно». Однако 9 января 1742 г. Финч, отвергнув другие объяснения, непосредственно связал задержку Брауншвейгской фамилии в России с благополучным прибытием племянника царицы в Петербург: «Путешественники все еще находятся в Риге. Считается, что нужно так много заложников для безопасности путешествия герцога Голштинского сюда». По словам Финча, как только в столицу приехал курьер с известием о том, что герцог выехал морским путем из Данцига, принц Людвиг Эрнст получил распоряжение готовиться к отъезду<sup>11</sup>.

Подобного распоряжения семья бывшего царя не получала ни в январе, ни в феврале 1742 г., когда голштинский герцог под именем графа Дюккера благополучно приехал в Петербург. Поначалу брауншвейгцев задерживали потому, что Елизавета подозревала правительницу и ее фрейлину в присвоении и утайке казавшихся ей несметными богатств Бирона. По распоряжению императрицы Анна Леопольдовна и особенно Юлия Менгден были допрошены о судьбе драгоценностей бывшего временщика Анны Ивановны. Материалы следствия по этому делу, как и переписка Елизаветы с В. Ф. Салтыковым, показывают крайнее нерасположение императрицы к Анне Леопольдовне и ее неразлучной подруге, что позже не могло не отразиться отрицательно на судьбе Брауншвейгского семейства.

Завершение следствия не привело к изменению положения арестованных: они по-прежнему сидели в Риге. После суда и ссылки главных политических противников — Миниха, Остермана и Левенвольде — Елизавета начала подготовку к коронации,

которая была проведена в Москве в апреле 1742 г. Тем не менее мало вероятно, чтобы для решения наболевшего брауншвейгского вопроса у императрицы не осталось времени, да и занятость Елизаветы не следует преувеличивать. В дни коронационных торжеств была поставлена пышная опера «Милосердие Титово», главный герой которой — римский император Тит — прощает заговорщиков, покушавшихся на его власть и жизнь. В finale оперы он, обращаясь к раскаявшемуся главарю Сексту, поет:

Полно, Секст, думать о том, будем друзья паки,  
Забудем прошедшия те преступки всяки,  
С сердца Титус выкинул, я все забываю,  
Тебя обнимаю я и тебя прощаю.

В жизни все было много сложнее, чем на сцене. Издав указ 28 ноября 1741 г. о высылке за границу экс-императора и его семьи, Елизавета вскоре пожалела о своем великодушном поступке и все больше и больше склонялась к мысли о том, что выпускать бывшего императора из-под контроля России нецелесообразно и небезопасно для нее и ее преемника. Примечательны в этом смысле показания, данные в Тайной канцелярии неким А. Зимним, который говорил, что в случае смерти Елизаветы и ее племянника Иван Антонович — единственный кандидат на престол. «Я-де чаю,— говорил Зиминский,— что для того и в свою землю их отпускать государыня не соизволяет». В среде высшего дворянства распространились слухи о непрочности власти Елизаветы, «незаконности» ее происхождения, высказывались симпатии в адрес «смиренной и ласковой» Анны Леопольдовны. В середине лета 1742 г. были арестованы камер-лакей А. Турчанинов и несколько гвардейцев. Их обвинили в заговоре с целью убийства Елизаветы и ее наследника и возведения на престол Ивана Антоновича. По мнению заговорщиков, Елизавета и Анна Петровна были незаконными детьми Петра, и поэтому Елизавета и ее племянник не имели прав на престол<sup>12</sup>.

Оппозиционные настроения среди знати особенно отчетливо проявились в деле Лопухиных — Ботта. Пьяный разговор в публичном доме Берлера между подполковником И. С. Лопухиным и поручиком Бергером о том, как «плохо под бабынм правительством», стал поводом для доноса последнего на Лопухина. Дело, начатое в Тайной канцелярии летом 1743 г., привлекло особое внимание самой Елизаветы, которая ежедневно выслушивала записи допросов и подписывала все новые и новые указы об аресте людей, причастных, по мнению следователей, к заговору против императрицы.

Сразу отметим, что даже по критериям XVIII в. заговора с целью свержения императрицы не было. Была салонная болтовня женщин, обсуждавших политические новости. Однако следователи не могли остановиться лишь на констатации предосудительных разговоров и целенаправленно подбирали матери-

ал, позволявший говорить о разветвленном заговоре. Угроза применения пыток и сами пытки значительно облегчали эту работу, развязывая языки подследственным. Особенно испугался Иван Лопухин, который донес на многих заведомо невинных людей и даже оговорил свою мать — Н. Лопухину.

Во всем этом деле есть вполне определенная политическая подоплека. И. Г. Лесток и стоявшая за его спиной французская дипломатия стремились с помощью громкого политического скандала, в котором оказались бы замешаны ближайшие родственники канцлера А. П. Бестужева-Рюмина (в частности, жена и дочь его брата Михаила), свергнуть этого подлинного руководителя внешней политики России и упорного противника французского влияния при дворе. Подробности этой интриги читателю известны. Теперь же отметим несколько других важных обстоятельств, которые выявило следствие, как бы ни была надумана его причина.

Прежде всего следствие показало, что в среде знати зрело недовольство личностью новой императрицы, ее нравами и окружением. Мелкопоместные Лопухины, сами поднятые наверх лишь с помощью брака Евдокии Лопухиной с Петром I, с презрением отзывались о Елизавете — дочери простой ливонской крестьянки, подчеркивали незаконнорожденность императрицы, осуждали ее поведение. Подлинной причиной этого недовольства было, конечно, не поведение веселой императрицы — нравы того времени вообще не отличались особой суворостью, а то, что Лопухины и близкие к ним люди после переворота 25 ноября были оттеснены от власти и лишены тех привилегий, которыми теперь обладала кучка новых людей, пришедших с Елизаветой. Поэтому в гостиной Лопухиных с сожалением вспоминали Анну Леопольдовну, которая «была к ним милостива».

Но даже не это обстоятельство вызвало интерес Елизаветы, не питавшей особых иллюзий относительно любви и преданности знати. Бергер донес, что И. С. Лопухин якобы говорил: Елизавета «Ивана Антоновича и принцессу Анну Леопольдовну со всем семейством в Риге под караулом держит, а того не знает, что рижский караул очень к принцу и к принцессе склонен и с лейб-кампанией потягается. Думаешь, не сладить с тремя стами канальями? Прежний караул и крепче был, да сделали дело». Расследование этой версии подтвердило достоверность лишь одного факта: Лопухины через своих знакомых поддерживали переписку с одним из офицеров, находившихся в Риге. И хотя изъятые письма и не содержали состава преступления, сам факт переписки вызывал большие подозрения властей, ибо, по их мнению, свидетельствовал, что недовольные Елизаветой круги знати вступили в контакт с семьей опального царя.

Эти подозрения окрепли, когда при расследовании прозвучало имя цесарского посланника маркиза де Ботта-Адорно, незадолго до этого переведенного из Петербурга в Берлин. Оказа-

лось, что он изредка посещал дом Лопухиных и перед отъездом якобы «говаривал о своем старательстве у прусского короля, чтоб ей принцессе (Анне Леопольдовне.—*E. A.*) быть по-прежнему». Это сказала дочь М. П. Бестужева-Рюмина — Наталья Ягужинская. Сам же Лопухин в ответ на вопрос: «Почему ты ведаешь, что прусский король будет помощником в возведении на престол Иоанна?» — сказал: «...того не ведаю, а говорил... без умыслу, что король прусский — принцу свой; удивляюсь, для чего-де он за него не вступится». Возможно, что именно из такого предположения и возникла версия причастности де Ботта к предполагаемому заговору. Исчерпывающе она была выражена в полученным под пыткой «признании» Лопухина, который якобы «усердно желал, чтобы принцессе Анне и сыну ея быть по-прежнему на российском престоле», и поэтому «не донес правительству, слыша от своей матери и ведая, что маркиз де Ботта всегда в беспокойстве был и в совершенном намерении находился принцессе помочь и для возведения ее с сыном на престол по-прежнему стараться короля прусского против России к войне возбудить и привесть»<sup>13</sup>.

«Признание» Лопухина интересно тем, что оно отражало ту концепцию заговора, которая сложилась в сознании следователей и самой Елизаветы и определяла поведение последней. Налицо был треугольник: внутренние недоброжелатели (Лопухины), Брауншвейгское семейство, поддерживающее с ними связь, и, наконец, иностранные покровители — Ботта и, возможно, Фридрих II. Для того чтобы уточнить последнее звено, в Берлин для разведки был тайно послан «надежный человек». Результаты его поездки неизвестны.

В августе 1743 г. генеральный суд вынес всем обвиняемым по делу Лопухиных смертный приговор, замененный телесными наказаниями и ссылкой в Сибирь. Тогда же Марии Терезии был послан особый мемориал «о винах» ее посла в России. Не желая ухудшать отношений с Елизаветой, австрийская императрица заключила маркиза де Ботта в крепость, разрешила допросить его по пунктам, присланным из России, и просила Елизавету назначить маркизу наказание. В 1744 г. нового цесарского посланика Розенберга известили, что Елизавета «все это дело передает забвению»<sup>14</sup>.

Зато не было предано забвению дело Брауншвейгской фамилии. После вскрытия «заговора» Лопухиных — Ботта уже не могло идти речи об отправлении свергнутого императора за границу. Если после дела камер-лакея Турчанинова брауншвейгцев перевели в близлежащую от Риги крепость Динамунде, то теперь контроль за ними был усилен и в январе 1744 г. было послано распоряжение вывезти их в глубь России — в город Ораненбург Воронежской губернии. Примечательно, что сопровождавший бывшего царя и его семью капитан-поручик Вындорский так слабо разбирался в географии, что повез их поначалу в Орен-

бург. Летом в Ораненбург прибыл И. Корф, имевший приказ отвезти Анну Леопольдовну с семьей в Соловецкий монастырь. Прибывшему с Корфом капитану Миллеру предписано было отнять от родителей 4-летнего Ивана Антоновича и, скрывая его под именем Григория, доставить на Соловки отдельно от всей семьи. Там уже деятельно готовили помещения для заключенных. В конце августа 1744 г. родители были — как оказалось потом — навсегда разлучены с сыном. Но еще большим несчастьем для бывшей правительницы было прощание с фрейлиной Менгден, которую оставляли в Ораненбурге.

Осенние дороги не позволили экипажам добраться до берегов Белого моря. Корф сумел убедить Петербург в необходимости разместить опальное семейство временно в Холмогорах, в доме местного архиерея. Там они и оставались долгие годы. 19 марта 1745 г. Анна Леопольдовна родила сына Петра, а 27 февраля 1746 г. — сына Алексея и вскоре умерла. Рождение принцев, имевших, согласно завещанию Анны Ивановны, больше права престол, чем Елизавета и ее племянник, конечно, радости у императрицы не вызвало. Как сообщает один из источников, получив рапорт о рождении принца Алексея, Елизавета «изволила, прочитав, оный рапорт разодрать». Она даже пыталась скрыть от всех это известие. Требуя от Антона Ульриха подробностей смерти Анны Леопольдовны, императрица при этом писала начальнику охраны майору Гурьеву: «Скажи принцу, чтобы он только писал, какою болезнью умерла, и не упоминал бы о рождении принца». Когда Гурьев привез тело бывшей правительницы в Петербург, ему высочайшим указом было запрещено говорить «о числе детей принцессыных и какого пола»<sup>15</sup>.

Иван Антонович содержался тоже в Холмогорах, но отдельно от родителей. В начале 1756 г. его судьба резко изменилась. 26 января комендант Вындинский получил именной указ немедленно и тайно вывезти бывшего императора в Шлиссельбург. Коменданту предписывалось: «...чтобы не подать вида о вывозе арестанта... накрепко подтвердить команде вашей, кто будет знать о вывозе арестанта, чтобы никому не сказывал... а за Антоном Ульрихом и за детьми его смотреть наикрепчайшим образом, чтобы не учинили утечки»<sup>16</sup>.

Несомненно, эти меры были приняты после получения Елизаветой сведений о готовившейся попытке освобождения опального императора и его отца. В связи с этим необходимо остановиться на деле Ивана Зубарева, которое, надо полагать, доставило немало волнений Елизавете. История Зубарева кажется невероятной, но тем не менее в нее приходится поверить и уж по крайней мере признать, что она сыграла важную роль в судьбе Ивана Антоновича и в развитии русско-прусских противоречий.

Летом 1755 г. на русско-польской границе была задержана группа беглых русских крестьян, щедших из Польши в русские приграничные районы на конокрадство. Среди крестьян оказал-

ся некто Иван Васильев, который вскоре был разоблачен свидетелем В. Ларионовым, видевшим его в Польше в раскольничих слободах и знаяшим как Ивана Васильевича Зубарева. Это имя было хорошо известно сыскному ведомству.

В декабре 1751 г. тобольский купец Иван Зубарев передал возле Зимнего дворца в руки императрицы челобитную с объявлением о находке им в Исетской провинции золота и серебряных руд. Образцы, взятые у Зубарева, были исследованы в лабораториях Академии наук (М. В. Ломоносовым), Монетной канцелярии и Берг-коллегии. Результаты, полученные в двух последних лабораториях, были отрицательные. Пробы, исследованные Ломоносовым, наоборот, показали на выходе огромное содержание серебра. Михаил Васильевич тяжело переживал разбор явного противоречия результатов анализа, ибо была задета его научная репутация. Но Кабинет пришел к выводу, что Зубарев, неоднократно бывая в лаборатории Ломоносова (как в присутствии хозяина, так и без него), «по примеру прежде таких воров бывших... приближаясь к месту, где горшок с рудою в огне стоит, и тертого серебра, смешав с золою или другим чем, в горшок бросил, почему и оказался в пробе выход серебра». Зубарев не знал, что анализ образцов проводился помимо лаборатории Ломоносова в двух других местах, и, будучи арестованным как обманщик, кричал «слово и дело» и был передан в Тайную канцелярию. Там быстро выяснили, что объявление «слова и дела» было ложным и что всю авантюру с образцами руд Зубарев затеял, чтобы заполучить деревню с крестьянами. А это было возможно, если бы Зубарев получил привилегию на устройство завода по выплавке серебра. Переданный в Сыскной приказ, Зубарев в 1754 г. бежал и летом 1755 г. был схвачен на границе в числе нескольких конокрадов, шедших из Польши.

То, что рассказал Зубарев на следствии о времени между побегом в 1754 г. и арестом в 1755 г., вызвало огромный интерес шефа сыска А. И. Шувалова и стало известно самой императрице. Безусловно, такому авантюристу, каким был Зубарев, трудно верить, тем более что история, рассказанная им, напоминает сюжет приключенческой повести. Однако в ней содержатся многие реалии, которые заставляют задуматься над версией Зубарева.

Бежав из-под замка, Зубарев обосновался на Ветке — в раскольничих слободах и пустынях под Гомелем возле польско-русской границы. Вскоре он подрядился извозчиком в обоз, шедший с товарами в Кёнигсберг. Там на Зубарева — человека крепкого сложения — якобы обратил внимание встретившийся на улице прусский офицер и стал его звать на прусскую военную службу, но он отказался и был арестован пруссаками. На допросе в Тайной канцелярии Зубарев подробно описывал, как его тщетно упрашивали вступить в прусскую гвардию вначале капитан, потом полковник и, наконец, фельдмаршал Ливонт (Левальд).



Орден Андрея Первозванного. Середина XVIII в.



Ротное знамя Преображенского полка. 1742 г.



Гренадеры (офицер и солдат) Преображенского полка.  
40-е годы XVIII в.



Штандарт лейб-кампании.  
1741 г.



Гренадер лейб-кампанец.  
Середина XVIII в.



С. Ф. Апраксин. Неизвестный художник второй половины XVIII в.

В. В. Фермор. Неизвестный художник XVIII в.

П. С. Салтыков. Неизвестный художник XVIII в.

А. Б. Бутурлин. Неизвестный художник XVIII в.

Литавренная колесница и знамя 1-го артиллерийского полка. 1757—1762 гг. ►

Полупудовая секретная гаубица образца 1753 г.

конструкции П. И. Шувалова ►





Взятие Берлина русскими  
войсками 28 сентября 1760 г.  
Художник А. Шарлемань.  
1900 г.



Русские драгуны. XVIII в.  
Художник П. Балашов



Взятие Кольберга войсками П. А. Румянцева 5 декабря 1761 г.  
Неизвестный художник XVIII в.

Трофейные знамена прусского пехотного и прусского  
кавалерийского полка. Середина XVIII в.

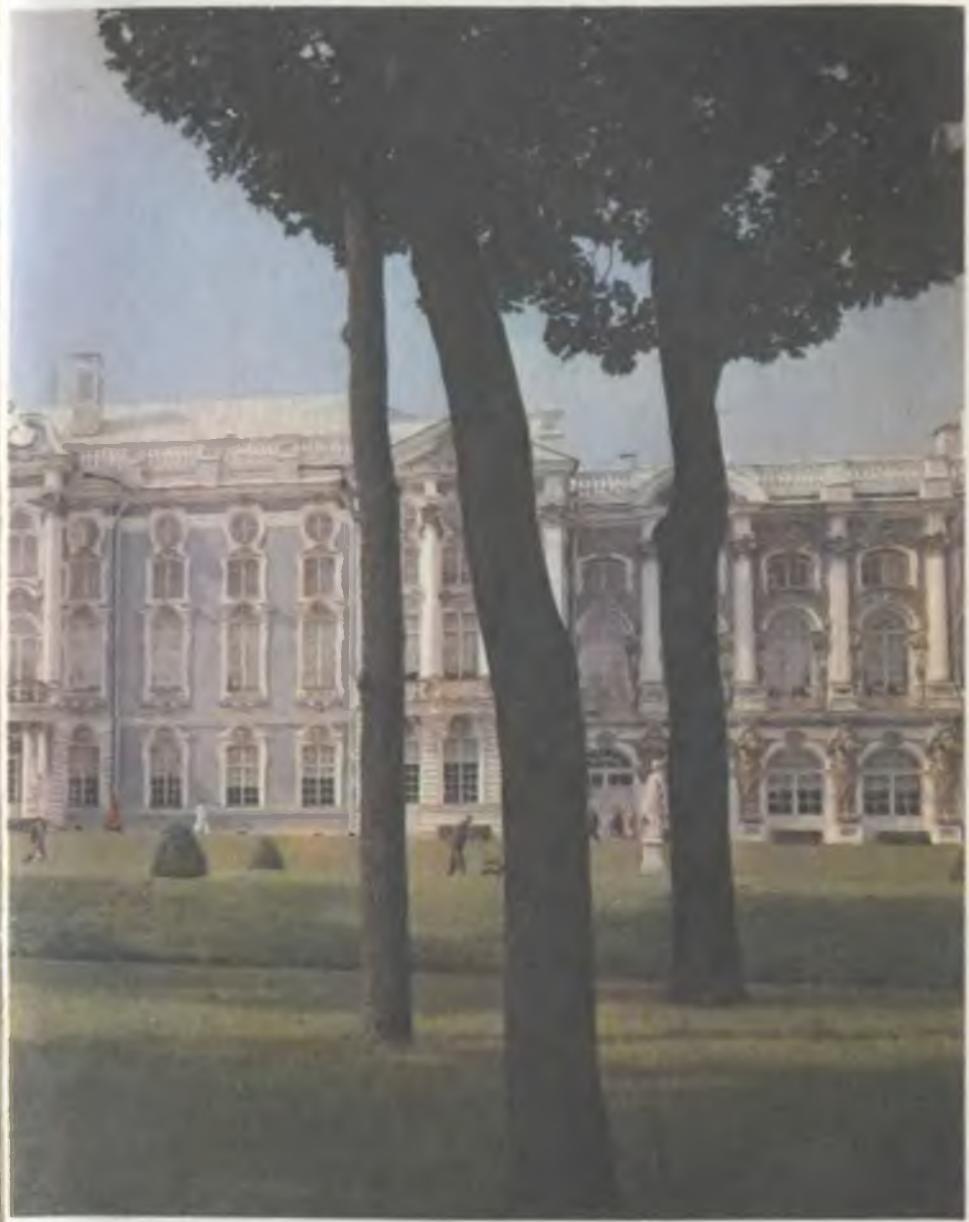


Сражение у Кунерсдорфа 1 августа 1759 г.  
Художник А. Е. Коцебу. 1848 г.





Екатерининский дворец в Царском Селе (ныне г. Пушкин).  
Архитектор В. В. Растрелли





Б. В. Растрелли.  
Художник П. Ротари

Ворота Екатерининского дворца.  
Архитектор Б. В. Растрелли ►

Тронный зал  
Екатерининского дворца.  
Архитектор Б. В. Растрелли.  
Плафон художника Д. Валериани







Большой букет из бриллиантов,  
изумрудов, золота и серебра.  
Около 1760 г.

Кубок. Стекло.  
Середина XVIII в. ►

Бульотка. Серебро, ковка,  
чеканка. 1760 г. ►

Полоскательница, перечница,  
чайник. Серебро. Конец 50-х—  
начало 60-х годов XVIII в. ►

Предметы из «Собственного  
сервиза». Фарфор.  
Конец 50-х—начало  
60-х годов XVIII в.





Алебарда. Середина XVIII в.



Пара кремневых пистолетов.  
Середина XVIII в.



Поскольку Зубарев был непреклонен, его привезли в дом полковника, хорошо знающего русский язык. Полковник — а это был известный читателю К. Г. Манштейн — после долгих уговоров якобы сказал Зубареву: «Я-де хочу тебя отвезти к королю, и ты-де не упрямься в гвардию». И только тогда Зубарев согласился пойти на прусскую службу.

Манштейн повез Зубарева в Бранденбург. По дороге в неизвестном Зубареву городе полковник познакомил его с неким принцем, и они втроем отправились в Потсдам. В пути Манштейн сообщил Зубареву, что их спутник — родной дядя опального императора Ивана Антоновича Фердинанд. В Потсдаме Манштейн с помощью угроз вынудил у Зубарева согласие выполнить особое поручение прусского короля. В присутствии Фердинанда Манштейн якобы сказал Зубареву: «Сделай-де ты этакую милость и послужи за отечество свое: съезди-де в раскольнички слободы и уговори раскольников, чтоб они склонились к нам и чтоб быть на престоле Ивану Антоновичу; а мы-де по их желанию будем писать к патриарху (константинопольскому.—*E. A.*), чтоб им посвятить епископа... А как-де посвятим епископа, так-де он от себя своих попов по всем местам, где есть раскольники, разошлет, и они-де сделают бунт. А ты-де, пожалуй, сделай только то, что подай весть Ивану Антоновичу, а мы будущаго 756 году, весной, пошлем туда, к городу Архангельскому, корабли под видом купечества». Тут же Манштейн представил Зубареву офицера, который по письму Зубарева прибудет на этих кораблях, имея задание «скрасть Ивана Антоновича и отца его». И далее Манштейн раскрыл Зубареву весь план до конца: «А как-де мы Ивана Антоновича скрадем, то уже тогда чрез показанных епископов и старцов сделаем бунт, чтоб взвести Ивана Антоновича на престол, ибо-де Иван Антонович старую веру любит, а как-де сделается бунт, то-де и мы придем с нашей армиею к российской границе»<sup>17</sup>.

Зубарев согласился выполнить задание — связаться с Брауншвейгской семьей — и через два дня был представлен самому Фридриху II. Король пожаловал его чином «регIMENT-полковника» и дал на дорогу тысячу червонцев. Особо Зубареву были выданы две золотые медали с портретом Фердинанда, которые должны были заменить письмо к Антону Ульриху. Затем Манштейн при короле, «сняв с окошка образ Богородицы (это во дворце Сан-Суси! —*E. A.*), в том, чтоб он, Зубарев, был к его королевскому величеству верен и старался все то в пользу его величества исполнять, велел ему присягнуть, где он во всем том и присягнул». После этого в соседнем помещении на Зубарева был надет «мундир офицерской зеленои с красными обшлагами, а на плече кисти долгия серебряные ниже локтя, а на концах серебряные литые концы, а камзол и штаны желтые». Представ в таком виде перед королем вновь, Зубарев вместе с Манштейном покинул дворец.

В доме Манштейна Зубарева показали брату короля и фельдмаршалу Кейту. На следующий день Манштейн «поутру, напоив его, Зубарева, чаем и сняв с него означенный мундир, а надев на него ту нагольную шубу, в которой он, Зубарев, у Манштейна и перед королем (!) был, посадя его в карету обще с... кенигадъютантом, из города Потсдам поехали» к польской границе, где и расстались. В Варшаве Зубарев посетил прусского посланника и, заручившись его напутствием, двинулся к русской границе. В пути он был ограблен поляками и, нуждаясь в деньгах на дорогу, продал медали, зашитые в стельку сапога. Приехав в приграничные раскольнические слободы, Зубарев начал всем рассказывать о своих приключениях у пруссаков и том «спецзадании», которое получил от Фридриха II. Среди его многочисленных слушателей был и Василий Ларионов, впоследствии разоблачивший конокрада Ивана Васильева.

В версии Зубарева причудливо перемешиваются правда и вымысел. Особенно обращают на себя внимание персонажи показаний беглого тобольского купца. Важнейшим среди них следует признать К. Г. Манштейна.

После окончания русско-шведской войны Манштейн, правая рука опального Б. К. Миниха и враг А. П. Бестужева-Рюмина, воспользовавшись отпуском, покинул Россию и оказался в Берлине в окружении Фридриха II. Через русского посла в Пруссии он пытался получить отставку и, несмотря на отказ Военной коллегии, в 1745 г. поступил на прусскую службу. Получив чин генерал-адъютанта, Манштейн стал ближайшим сподвижником Фридриха. Русская сторона расценила поступок Манштейна как дезертирство и приказала ему немедленно явиться в свой полк, а когда он отказался вернуться, военный суд приговорил его к смертной казни. Россия по дипломатическим каналам потребовала от Пруссии выдачи Манштейна для приведения приговора в исполнение. Стоит ли говорить, что Фридрих и не подумал это сделать: Манштейн, человек несомненно умный и наблюдательный, был в свите короля своеобразным экспертом по русским делам. Проведя много лет в России, он прекрасно ориентировался в тамошней политической обстановке, знал многих русских деятелей и был для прусского короля бесценным приобретением. Именно поэтому русское правительство так настойчиво стремилось заполучить назад Манштейна вопреки обычаяу, ибо иностранец, состоявший на русской службе, мог уехать за границу в отпуск и, испросив отставку, остаться там навсегда<sup>18</sup>.

Настораживает и участие в истории Зубарева брата Антона Ульриха — принца Фердинанда Брауншвейгского, а также фельдмаршала Кейта — крупного военачальника, командовавшего русскими войсками во время русско-шведской войны 1741—1743 гг. и покинувшего Россию после ее окончания. Все эти люди были непосредственно связаны с русскими делами, и не исключено, что дело Зубарева нужно рассматривать в плане

антирусских интриг Фридриха II, стоявшего на пороге Семилетней войны.

Показания Зубарева в Тайной канцелярии нуждаются в тщательном анализе. Думается, что на следствии он стремился представить себя невинной жертвой прусской военщины, которая принудила его пойти на королевскую службу. Персона скромного сибирского посадского привлекла внимание сначала капитана, затем полковника, потом фельдмаршала Левальда не потому, что все они только и мечтали служить под одними знаменами с Зубаревым, а потому, что Зубарев — авантюрист по натуре — сам сделал прусской стороне какие-то предложения, которые вызвали интерес у прусских военных, передававших его по цепочке своим командирам, пока он не попал в руки специалиста по России Манштейна, а затем оказался в самых высших сферах Пруссии. При этом вполне можно допустить, что Зубарев имел аудиенцию у прусского короля, занимавшегося всеми важнейшими государственными делами. Тому, что Зубарев, отправляясь в Кёнигсберг, что-то задумал, есть подтверждение в показаниях свидетеля В. Ларионова. Он был в том самом обозе, с которым прибыл в столицу Восточной Пруссии Зубарев. Здесь, по словам Ларионова, Зубарев спросил у проходивших прусских солдат, где находится ратуша, а потом, обращаясь к Ларионову и другим возчикам, сказал: «Прощайте, братцы, запишусь я в жолнеры и буду-де просить, чтоб меня повезли к самому прусскому королю: мне до него, короля, есть нужда! И с тем-де от меня,— заканчивает Ларионов,— и товарищей моих в означенную ратушу с жолнерами и пошел»<sup>19</sup>.

Если наблюдения о составе лиц, привлеченных по делу Зубарева, верны, а показания Ларионова близки к истине, то можно с большой степенью вероятности догадаться о том, что поведал пруссакам Зубарев. Скорее всего он сообщил им то, что сам на допросе в Тайной канцелярии вложил в уста отрицательного персонажа своего рассказа — Манштейна, а именно:

1. Раскольники представляют большую силу, но не имеют собственного епископа и не могут рукоположить в священники.— Действительно, это была одна из самых актуальных внутренних проблем русского раскола, доставлявшая раскольникам немало хлопот.

2. Раскольники недовольны режимом, установленным Петром-антихристом и поддерживаемым его дочерью.— Этот факт тоже очевиден и не требует особых доказательств.

3. Раскольники видят в заточенном в Холмогорах малолетнем Иване Антоновиче русского царя, пострадавшего за истинную веру.— Существование таких взглядов вполне допустимо. Оппозиция господствующему строю со стороны раскольников могла проявиться и в таком виде. История «истинного царя Петра III Федоровича» — Пугачева, пострадавшего за истинную веру и народ,— подтверждение живучести таких представлений.

4. Прусский король — родственник опального царя — может помочь ему. — Эта мысль уже встречалась в деле Лопухиных — Ботта, и не исключено, что она имела широкое хождение в оппозиционных властях кругах.

Все рассказанное Зубаревым могло совпасть с некоторыми наблюдениями и выводами Манштейна о ситуации в России. Думается, что Фридрих II и его окружение могли и не доверять Зубареву, но его предложения об освобождении Ивана Антоновича и бунте раскольников против «дочери Антихриста» могли импонировать прусской верхушке, благо рисковать пришлось бы лишь тысячей червонцев и Зубаревым, а в случае даже частичного успеха авантюры результатом мог быть подрыв внутренней стабильности режима Елизаветы. Ввиду приближающейся войны это было немаловажно.

В литературе высказывалось предположение, что Зубарев оказался в Пруссии по заданию русского правительства и результаты его поездки нужны были Елизавете «как предлог для жестоких мер против возможного претендента на престол — Ивана Антоновича»<sup>20</sup>. Думается, эта точка зрения малоубедительна — опальная семья Ивана Антоновича находилась в полной власти Елизаветы, и искать предлога для расправы с ней у императрицы не было необходимости.

Допустим другой вариант: Зубарев был отправлен в Пруссию с целью спровоцировать пруссаков и возможную оппозицию на какие-то действия, которые позволили бы обезвредить неизвестный правительству заговор в пользу Ивана Антоновича. В связи с этим следует обратить внимание, во-первых, на известие о тайном вояже в Берлин «надежного человека» (о чем говорилось выше) и, во-вторых, на показания А. Зиминского, признавшегося в Тайной канцелярии в таких речах: «Дай-де бог страдальцам нашим счастья, и для того-де многие партии его (Ивана Антоновича). — Е. А.) держат. Вот-де и князь Никита Трубецкой, и гвардии некоторые майоры партию его держат же... Как бы-де они (Брауншвейгская семья. — Е. А.) не уехали за море, для того что-де близко города Архангельского, а у них-де не без друзей. Здесь первой-де князь Никита Трубецкой, да и все-де господа — то партию держат, также лейб-кампании большая половина, а особливо старое дворянство все головою»<sup>21</sup>. Поэтому нельзя полностью исключить возможность того, что с целью побудить пруссаков к действиям Зубарев написал по указке следователей письмо в Пруссию, в котором сообщил об успешном выполнении задания и о том, что он ждет прибытия в Россию группы для освобождения узников. Однако пруссаки не пошли в расставленные сети и на призыв Зубарева не отклинулись.

Как бы то ни было, реакция Елизаветы на историю Зубарева была однозначна: охрану в Холмогорах усилили, а Ивана Антоновича срочно перевели в Шлиссельбург.

В заключение рассказа о Брауншвейгской семье отметим, что после смерти Анны Леопольдовны для ее мужа и детей потянулись долгие годы тюремной жизни. Комендант Зыбин в донесении так описывал заключенных и условия их жизни: «Дети Антона Ульриха — дочери: большая Екатерина, сложения больного и почти чахоточного, притом несколько глуха, говорит немо и невнятно и одержима всегда разными болезненными припадками, нрава очень тихаго. Другая его дочь, Елизавета, которая родилась в Дюнамюнде... нрава несколько горячего, подвержена разным и нередким болезненным припадкам, особенно не один уже год впадает в меланхолию и немало времени ею страдает. Сыновья — старший Петр... сложения больного и чахоточного, несколько кривоплеч и кривоног. Меньшой сын Алексей... сложения плотноватого и здорового, и хотя имеет припадки, но еще детские. Живут все они с начала и до сих пор в одних покоях безысходно, нет между ними сеней, но из покоя в покой только одни двери, покой старинные, малые и тесные. Сыновья Антона Ульриха и спят с ним в одном покое. Когда мы приходим к ним для надзирания, то называем их — по обычаю прежних командинров — принцами и принцессами»<sup>22</sup>.

Приход к власти Петра III, а потом Екатерины II долго не менял положения узников. После 32-летнего заключения Антон Ульрих одряхлел, ослеп и в мае 1774 г. умер. Только в конце 1779 г. Екатерина II решила отпустить с миром брауншвейгских принцев и принцесс. В 1780 г. на фрегате «Полярная звезда» их вывезли в Данию, где поселили с согласия датского двора на полном содержании русского правительства. Через два года умерла принцесса Елизавета, в 1787 г.— принц Алексей, а в 1789 г.— принц Петр. Дольше всех прожила принцесса Екатерина. В августе 1803 г. она послала Александру I письмо, в котором просила, чтобы ее взяли в Россию и постригли в монастырь. Жалуясь на своих придворных-датчан, которые ее обворовывали и притесняли, она писала по-русски: «...мои дански придворни все употребляи денга для своей пользы и что они были прежде совсем бедны и ничто не имели, а теперича они отого зделалися богаты, потому они всегда лукавы были... Я всякой день плачу и не знаю, за что меня сюда бог послал и почему я так долго живу на свете, и я всякой день поминаю Холмогор, потому что мне там был рай, а тут — ад». Не известно, получил ли адресат прошение брауншвейгской принцессы, но сама просительница умерла в Дании в 1807 г.

Судьба Ивана Антоновича читателю известна много лучше. Летом 1764 г., уже при Екатерине II, подпоручик Смоленского пехотного полка В. Я. Мирович с отрядом солдат пытался освободить узника Шлиссельбурга. Во время штурма казармы-каземата охранявшие Ивана Антоновича офицеры Власьев и Чекин, действуя согласно букве данной им инструкции, убили бывшего русского самодержца. В донесении Чекина графу Панину этот

эпизод описывается скучно, как в военной сводке: «Наши отбили неприятеля, они вторично наступать начали и взяли пушку, и мы, видя превосходную силу, арестанта еще с капитаном умертили»<sup>23</sup>.

При Елизавете же Иван Антонович был жив и здоров и, конечно, являлся предметом серьезного беспокойства императрицы. С первых дней своего правления Елизавета стремилась вытравить из памяти людей имя императора-младенца и его матери. Многочисленные и строгие указы повелевали все постановления предыдущего правительства, в которых упоминались Иван Антонович и Анна Леопольдовна, выслать в Сенат и там уничтожить. Такая же судьба ожидала все изображения императора и правительницы, а также монеты и книги. Из-за границы запрещалось ввозить книги, в которых упоминались «в бывшя два правления известные персоны» — так назывались в елизаветинских указах Иван Антонович и Анна Леопольдовна. Наконец, следует упомянуть, что Елизавета решилась на шаг, не имеющий аналогий в русской истории, — было полностью изъято из канцелярского обращения все делопроизводство ряда важнейших государственных учреждений за время царствования Ивана Антоновича. В 80-х годах XIX в. А. С. Пестов опубликовал два огромных тома этих документов под заголовком «Внутренний быт Русского государства с 17 октября 1740 по 25 ноября 1741 г.»<sup>24</sup>. Публикация представляет собой своеобразную «документальную фотографию» эпохи.

Как это часто бывало в истории России, став запретным, имя царя-младенца, заключенного в темницу, приобрело популярность не только среди лиц, недовольных лично Елизаветой, но и в кругах, недовольных режимом вообще. Императора Иоанна (а при Елизавете он титуловался лишь «принцем») помнили и передавали из уст в уста слухи о его безвинных страданиях, о том, что может настать и его час. Материалы Тайной канцелярии по делу А. Зиминского свидетельствуют, что, «сожалея онаго принца Иоанна, говорил же он, что ежели-де оный принц Иоанн придет в возраст и прекратится жизнь ее императорского величества и его императорского высочества (наследника Петра Федоровича.—Е. А.), то, кроме-де онаго принца Иоанна, на российском престоле быть некому».

В целом же 20-летнее царствование Елизаветы прошло относительно спокойно, и реальных угроз ее власти так и не возникло. Материалы Тайной канцелярии 40-х — начала 60-х годов XVIII в. подтверждают это. Основным занятием следователей было рассмотрение слухов, порочивших императрицу. Много разговоров было о «незаконности» прав Елизаветы на власть («не подлежит-де великой государыне на царстве сидеть — она-де не природная и не законная государыня...»); говорили, что «недостойна в нашем великороссийском государстве женску полу на царстве сидеть» или что «у государыни-де ума нет». Предметом

пересудов стали поведение веселой императрицы («как приехала в Москву, так ни однажды в церкви не бывала, только-де всегда упражняется в комедиях...»), а также ее любовные дела<sup>25</sup>. Хотя поколебать положение Елизаветы слухи не могли, их распространители тем не менее наказывались.

Нейтрализация возможных претендентов на престол не была единственным средством упрочения власти Елизаветы. Взяв реальную власть в стране в свои руки, Елизавета стремилась как можно быстрее закрепить ее юридически. Уже 1 января 1742 г. был опубликован манифест о намерении императрицы «в столичном нашем граде Москве при всенародной церковной молитве и благословении императорскую корону с прочими клейнодами и священное помазание восприять»<sup>26</sup>.

Коронационные торжества открылись вступлением Елизаветы 27 февраля 1742 г. в Москву. Документы и гравюры позволяют представить, какой пышной была эта церемония. Улицы зимней Москвы, по которым шествовал кортеж, были украшены триумфальными арками, «из окон по стенам... свешены были изрядные персицкие и турецкие ковры и другие богатые материи». Вдоль всего пути следования кортежа были построены полки с разевающимися знаменами. Огромные толпы народа, оглушенные звоном колоколов всех «сорока сороков» московских церквей, пушечными салютами, беглым ружейным огнем полков, криками «виват!», ржаньем лошадей, завороженно смотрели, как десятки украшенных золотом, парчой, бархатом экипажей медленно двигались по направлению к Кремлю. Сотни всадников окружали экипажи императрицы, ее племянника и знати.

Кремль встретил Елизавету звоном Ивана Великого. Золотое сияние куполов кремлевских соборов перекликалось с сиянием крестов, окладов икон, парадных одеяний вышедшего навстречу императрице духовенства. Под залпы 85-пушечного салюта, пение и крики Елизавета вышла из экипажа и по алым коврам, устлавшим ее дорогу, проследовала в Успенский собор, где ее ждало высшее дворянство «в пребогатом убore». Целых два дня «по всей Москве у церквей днем был колокольный звон, а в夜里 дома по всему городу были преизрядно иллюминированы». Почти два месяца продолжались балы, карнавалы, церемонии и молебны.

25 апреля 1742 г. наступила кульминация празднеств. Рано утром торжественная процессия во главе с Елизаветой медленно двинулась к Успенскому собору. Все колокола Москвы непрерывно звонили, «а во время шествия е. и. в. стоящие в параде полки ружье держали на карауле и знамена уклоняли к земли с игранью музыкою и с барабанным боем». Елизавета, одетая в великолепное платье (его можно увидеть и ныне в Оружейной палате Кремля), вступила в собор и села на престол под балдахином, сияющим парчой и позументом. Перед троном на специальном столе были положены все регалии высшей власти: корона (с ко-

ронацией так спешили, что не успели изготовить специальную корону, и Елизавета венчалась на царство короной так не любимой ею Анны Ивановны), скипетр, держава, мантия — порфира «златотканной материи с нашитыми частыми двоеглавыми орлами на меху горностаевом» — и, наконец, государственная печать, меч и панир (знамя).

После размещения всех приглашенных согласно выданным им билетам началась церемония коронации. Новгородский архиепископ Амвросий поднялся к трону и в наступившей тишине сказал: «...по обычаю древних христианских монархов и богоизбраных ваших предков, да соблаговолит величество ваше в слух верных подданных ваших исповедать православно кафолическую веру, како веруещи». Взяв в руки книгу, Елизавета громко прочитала символ веры. Затем с помощью архиереев императрица надела горностаевую мантию и «преклонила главу». Амвросий, «возложа руку» на голову императрицы, прочитал соответствующую молитву. И здесь церемония коронования, до сих пор в точности повторявшая церемонию коронования Анны Ивановны, была нарушена. В «Описании коронации» Анны (апрель 1730 г.) читаем: ведший церемонию Феофан Прокопович «наложил на главу е. в. императорскую корону», «в десную (правую.—Е. А.) руку скипетр, а в левую — державу или яблоко подал». Соответствующее место в «Обстоятельном описании... коронования» Елизаветы гласит: «По окончании оной молитвы е. и. в. соизволила указать... подать императорскую корону... Ту корону е. и. в., приняв от архиерея с подушки, изволила возложить на свою главу, причем архиерей говорил молитву»<sup>27</sup>.

Нарушение принятого церемониала было глубоко символично. На глазах всей знати и высшего духовенства Елизавета сама водрузила на голову корону, недвусмысленно подчеркивая, что властью обязана только самой себе. Это обстоятельство не преминула отметить печать. 6 мая 1742 г. «Санкт-Петербургские ведомости» поместили краткое описание коронации, где говорилось: «...после обычных молитв и прочих церковных обрядов около половины 11-го часа чрез преосвященного Амвросия, архиепископа Новгородского, высокое помазанье совершилось, то изволила е. и. в. собственною своею рукою императорскую корону на себя наложить». На триумфальных воротах, построенных к прибытию Елизаветы в Москву, зрители могли видеть аллегорическую картину, изображающую солнце «с круглым полем своим» и снабженную надписью: «Semet coronat» («Само себя венчает»). В «Описании обоих триумфальных ворот...» аллегория разъяснялась так: «Сие солнечное явление от самого солнца происходит, не иначе как и е. и. в., имея совершенное право, сама на себя корону наложить изволила». Следует отметить, что и Екатерина II во время коронации (1764 г.) в точности повторила действия Елизаветы, явно вкладывая в них тот же смысл, что и ее предшественница, взявшая власть при аналогичных обстоя-

тельствах: «...ту корону е. и. в., приняв от архиерея с подушки, изволила возложить на свою главу»<sup>28</sup>.

Вернемся к описанию коронации Елизаветы. Взяв в руки скрипетр и державу, она вновь села на трон. Далее церемония пошла по традиционному пути: провозглашение полного титула, «многие лета», чтение Елизаветой молитвы, общая молитва, поздравительная речь Амвросия. Затем по дорожке, устланной бархатом и золотой парчой, Елизавета двинулась к царским вратам, где был совершен обряд миропомазания. После церемонии коронации начались приемы, банкеты. Во время одного из них, как отмечали «Санкт-Петербургские ведомости», Елизавета «изволила пойти к окну и смотреть с удовольствием на собравшийся перед дворцом многочисленный народ, для которого поставлены были опять четыре амвона со всякими ест稳妥ми и четыре жареных быка, причем из двух фонтанов бежало вино и многократно бросаны были деньги»<sup>29</sup>. Бросанием серебряных и золотых денег, массовым угощением толп, награждением медалями «всех чинов», театральными представлениями, балами, маскарадами, фейерверками и иллюминациями хотела Елизавета надолго запомниться Москве и москвичам, войти в их сознание императрицей во всем величии своей полубожественной власти.

Нет необходимости подробно говорить о том, что в системе абсолютизма личность самодержца играла далеко не последнюю роль. От того, мог ли самодержавный монарх реально управлять государством, каковы его способности, интересы, привычки, кому он поручал или перепоручал дела, в немалой степени зависел вопрос о ведущих направлениях внутренней и внешней политики державы, которую он олицетворял. Поэтому представляется важным остановить внимание на личности Елизаветы и попытаться дать ее психологический портрет.

Сохранилось немало отзывов о Елизавете, принадлежащих перу ее современников. Авторы мемуаров и писем — люди, отличные друг от друга по характеру, темпераменту, уму, писательскому дарованию,— писали в разное время и ставили перед собой разные задачи, но все они сходились в одном — Елизавета была необычайно привлекательна. Приведу лишь два из многих свидетельств современников, не относившихся к числу друзей или доброжелателей Елизаветы. Испанский посланник герцог де Лириа в 1728 г. писал о 18-летней цесаревне: «Принцесса Елизавета такая красавица, каких я редко видел. У нее удивительный цвет лица, прекрасные глаза, превосходная шея и несравненный стан. Она высокого роста, чрезвычайно жива, хорошо танцует и ездит верхом без малейшего страха. Она не лишена ума, грациозна и очень кокетлива». А вот свидетельство Екатерины II, впервые увидевшей Елизавету, когда ей было уже 34 года: «Поистине нельзя было тогда видеть в первый раз и не поразиться ее красотой и величественной осанкой. Это была женщина высокого роста, хотя очень полная, но ничуть от этого

не терявшая и не испытывавшая ни малейшего стеснения во всех своих движениях; голова была также очень красива... Она танцевала в совершенстве и отличалась особой грацией во всем, что делала, одинаково в мужском и в женском наряде. Хотелось бы все смотреть, не сводя с нее глаз, и только сожалением их можно было оторвать от нее, так как не находилось никакого предмета, который бы с ней сравнялся»<sup>30</sup>.

Итак, по единодушному мнению современников, Елизавета была редкая красавица. Однако хор восторженных голосов стихает, когда от описания внешности императрицы переходят к характеристике ее нрава.

Современники отмечали фантастическую, казавшуюся всепоглощающей страсть царицы к нарядам и развлечениям, которую она активно (и не без успеха) культивировала в придворной среде и высшем дворянстве. Екатерина II писала о дворе Елизаветы: «Дамы тогда были заняты только нарядами, и роскошь была доведена до того, что меняли туалеты по крайней мере два раза в день; императрица сама чрезвычайно любила наряды и почти никогда не надевала два раза одного и того же платья, но меняла их несколько раз в день; вот с этим примером все и сообразовывались: игра и туалет наполняли день». Во время пожара в Москве в 1753 г. во дворце сгорело 4 тыс. платьев Елизаветы, а после ее смерти Петр III обнаружил в Летнем дворце Елизаветы гардероб с 15 тыс. платьев, «частью один раз надеванных, частью совсем не ношенных, 2 сундука шелковых чулок», несколько тысяч пар обуви и более сотни неразрезанных кусков «богатых французских материй»<sup>31</sup>.

Отдавая должное вкусу Елизаветы, современники отмечали необычайную элегантность ее нарядов, сочетавшихся с великолепными головными уборами и украшениями. С годами красота меркла, и Елизавета целые часы проводила у зеркала, гримируясь и меняя наряды. Французский дипломат Ж.-Л. Фавье, наблюдавший Елизавету в последние годы ее жизни, писал, что стареющая императрица «все еще сохраняет страсть к нарядам и с каждым днем становится в отношении их все требовательней и прихотливей. Никогда женщина не примирялась труднее с потерей молодости и красоты. Нередко, потратив много времени на туалет, она начинает сердиться на зеркало, приказывает снова снять с себя головной и другие уборы, отменяет предстоявшие театральные зрелища или ужин и запирается у себя, где отказывается кого бы то ни было видеть». Этот рассказ подтверждают другие источники. Фавье описал и выход императрицы: «В обществе она является не иначе как в придворном костюме из редкой и дорогой ткани самого нежного цвета, иногда белой с серебром. Голова ее всегда обременена бриллиантами, а волосы обыкновенно зачесаны назад и собраны наверху, где связаны розовой лентой с длинными развевающимися концами. Она, вероятно, придает этому головному убору значение диадемы, по-

тому что присваивает себе исключительное право его носить. Ни одна женщина в империи не смеет причесываться так, как она»<sup>32</sup>.

Записи в камер-фурьерских журналах — своеобразных официальных дневниках времяпрепровождения императрицы — подтверждают наблюдения Фавье о регламентации причесок. Так, в 1748 г. было приказано, чтобы дамы, собираясь на бал, волос «задних от затылка не подгибали вверх, а ежели когда надлежит быть в робах, тогда дамы имеют задние от затылка волосы подгибать кверху». Елизавета с необычайно ревнивым вниманием следила не только за прическами, но и за одеяниями придворных, введя своеобразную монополию на красоту и оригинальность нарядов и украшений, а также право единолично определять цвет и фасон одежды светских дам и кавалеров. Если бы не императивная форма и стиль цитируемого ниже документа, то императорский указ 1752 г. можно было бы принять за рекомендации модного журнала: «...дамам кафтаны белые тафтяные, обшлага, опушки и юбки гарнитуровые зеленые, по борту тонкий позумент, на головах иметь обыкновенный папельон, а ленты зеленые, волосы вверх гладко убранны; кавалерам кафтаны белые, камзолы, да у кафтанов обшлага маленькие, разрезные и воротники зеленые... с выкладкой позумента около петель, и притом у тех петель, чтоб были кисточки серебряные ж, небольшие»<sup>33</sup>.

Указы о нарядах были строго обязательны, и Елизавета, не колеблясь, использовала власть абсолютного монарха для пресечения нарушений. В особенности это относилось к дамам, пытавшимся соперничать в красоте с Елизаветой. Для начала она лишила их, так сказать, источников совершенствования красоты: ни один купец, прибывший из Западной Европы, и в частности из Франции, не имел права продавать товар, пока сама императрица не отобрала для себя нужные ей вещи и ткани. Нередко вся партия товара оставалась во дворце.

Вот выдержки из писем Елизаветы служащему Кабинета В. И. Демидову. 28 июля 1751 г. она писала: «Уведомилась я, что корабль французский пришел с разными уборами дамскими, и шляпы шитые мужские и для дам мушки, золотые тафты разных сортов и галантереи всякие золотые и серебряные, то вели с купцом сюда прислать немедленно...» Чрез несколько дней стало известно, что купец продал часть отобранного императрицей товара — вероятно, с большим для себя доходом, так как торговаться с Елизаветой было невозможно: она была скуча. (Ювелир Позье, хорошо знавший императрицу, отметил в мемуарах: «Государыня была весьма бережлива в покупках и любила похвалиться, что купила что-нибудь дешево».) Поступок коммерсанта вызвал гнев Елизаветы, которая писала Демидову: «Призови купца к себе, для чего он так обманывает, что сказал, что все тут лацканы и крагены, что я отобрала; а их не токмо все, но

и ни единого нет, которые я видела, а именно алые. Их было больше двадцати, и притом такие ж и на платье, которые я все отобрала, и теперь их требую, то прикажи ему сыскать и никому в угодность не утаивать». Далее императрица угрожала: «А ежели, ему скажи, он утаит, моим словом, то он несчастлив будет, и кто не отдает. А я на ком увижу, то те равную часть с ним примут». Елизавета даже указывает тех, кто мог купить новинки из Парижа и был обязан вернуть купленное: «А я повелеваю всенонечно сыскать все и прислать ко мне немедленно, кроме саксонской посланницы (тут уж ничего не поделаешь! — Е. А.), а прочие все должны возвратить. А именно у щеголих, надеюсь, они куплены, у Семена Кирилловича жены и сестры ее, у обеих Румянцевых: то вы сперва купцу скажите, чтоб он сыскал, а ежели ему не отадут, то вы сами послать можете и указом взять моим»<sup>34</sup>.

Закупками модных материй и «галантерей» занимались аккредитованные при иностранных дворах посланники. Особенно тяжело приходилось послам в Париже. Покупка «разных новоманирных вещей и уборов для собственного употребления е. в.» была их важнейшим поручением. Так, в ноябре 1759 г. М. И. Воронцов писал М. П. Бестужеву-Рюмину: Елизавете стало известно, что «в Париже находится особливая лавка, называемая *Au très galant*, в которой самые наилучшие вещи для употребления по каждым сезонам... продаются». Канцлер поручил послу нанять «надежную персону», которая могла бы подбирать («по приличности мод и хорошего вкуса») и посыпать все новинки в Петербург, несмотря на военное положение в Европе. На эти расходы было прислано 12 тыс. руб., хотя, вероятно, деньги высыпались не всегда регулярно. Вдова русского агента Ф. Бехтеева писала Елизавете, что ее муж остался должен в Париже большую сумму, изведенную на покупку чулок для императрицы<sup>35</sup>.

Особенно болезненно переживала Елизавета успех других дам на придворных балах и маскарадах. В своих мемуарах Екатерина II писала, что Елизавета «не очень-то любила, чтобы на этих балах появлялись в слишком нарядных туалетах». Иногда императрица, видя, что удачный наряд молодой великой княгини затмевает ее собственный, заставляла Екатерину переодеваться или запрещала надевать это платье еще раз. Впрочем, второй раз выйти в одном и том же наряде считалось дурным тоном, а на платьях дам, которые этого не понимали, ставились государственные печати. Если с женой наследника престола Елизавета все же считалась, то с прочими дамами двора она обходилась, как помещица с сенными девушками. По словам Екатерины, однажды на балу Елизавета подозвала Н. Ф. Нарышкину и у всех на глазах срезала украшение из лент, очень шедшее к прическе женщины; «в другой раз она лично сама остригла половину завитых спереди волос у своих двух фрейлин под тем предлогом, что не любит фасон прически, какой у них был». Потом

«обе девицы уверяли, что е. в. с волосами содрала и немножко кожи». Наученные горьким опытом, дамы понимали: нужно одеваться попроще, чтобы дать императрице возможность блестеть на их фоне, но в атмосфере «ухищрений кокетства» удержаться было невозможно, и «всякий старался отличиться в наряде»<sup>36</sup>.

В годы царствования Елизаветы в среде столичного дворянства погоня за модой стала повальной не только у женщин, но и у мужчин. В конце 1752 — начале 1753 г. широкое хождение в столице получила сатира И. П. Елагина «На петиметра и кокеток» и благодаря своей злободневности вызвала целую полемику в литературных и окололiterатурных кругах:

Увижу я его, седяща без убора,  
Увижу, как рука проворна жоликера (парикмахера.— E. A.)  
Разженней сталию главу с висками сжет,  
И смрадный от него в палате дым встает;  
Как он пред зеркалом, сердясь, воздыхает  
И солнечны лучи безумно проклинает,  
Мня, что от жару их в лице он черен стал,  
Хотя он отроду белее не бывал.  
Тут истощает он все благовонны воды,  
Которыми должат нас разные народы,  
И, зная к новостям весьма наш склонный нрав,  
Смеются, ни за что с нас втрое деньги взяв.  
Когда б не привезли из Франции помады,  
Пропал бы петиметр, как Троя без Паллады.  
Потом, взяв ленточку, кокетка что дала,  
Стократно он кричал: «Уж радость, как мила  
Меж пурпурными тут лента волосами!»  
К эфесу шпажному фигуরными узлами  
В знак милости ея он тщился прицепить  
И мыслил час о том, где мушку налепить.  
Одевшия совсем, поддия он размышляет:  
«По вкусу ли одет?» — еще того не знает,  
Понравится ль убор его таким, как сам,  
Не смею я сказать — таким же дуракам<sup>37</sup>.

В елизаветинское время явка на балы и маскарады была обязательной для всех приглашенных, как для офицеров явка на маневры. Вот, например, какой указ получили ее подданные в ноябре 1750 г.: «...при дворе е. и. в. быть публичному маскараду, на котором иметь приезд всем придворным, и знатным персонам, и чужестранным, и всему дворянству с фамилиями, кроме малолетних, в приличных масках». Строжайшим образом регламентировались не только бальные, но и маскарадные костюмы: «...платья перегримского и арлекинского чтоб не было, а кто не дворянин, тот бы в оный маскарат быть отнюдь не дерзал, тако не отважились бы вздевать каких непристойных деревенских платьев, под опасением штрафа». На маскарадах присутствовало до полутора тысяч человек, причем при входе в зал гвардейцы проверяли наряды и, «снимая маски, осматривали».

Неистощимая на выдумки за счет, казалось, неисчерпаемого государственного кармана, Елизавета и от других требовала

своеобразного энтузиазма в маскарадном деле. Не раз устраивались маскарады с переодеваниями, причем указом предписывалось «быть в платье дамам в кавалерском, а кавалерам — в дамском у кого какое имеется: в самарах, кафтанах или шлафорах дамских; а обер-гофместирине госпоже Голицыной объявлено, что ей быть в маскарадном мужском платье: в домино, в парике и шляпе». «Правда,— пишет Екатерина II,— нет ничего безобразнее и в то же время забавнее, как множество мужчин, столь нескладно наряженных, и ничего более жалкого, как фигуры женщин, одетых мужчинами; вполне хороша была только сама императрица, к которой мужское платье отлично шло...» Как и следовало ожидать, такие маскарады доставляли удовольствие лишь самой Елизавете.

В удовлетворении своих прихотей Елизавета, казалось, не знала границ, самодурствуя как богатая барыня. «В один прекрасный день,— вспоминала Екатерина II,— императрице нашла фантазия велеть всем дамам обрить головы. Все ее дамы с плачем повиновались; императрица послала им черные, плохо расчесанные парики, которые они принуждены были носить, пока не отросли волосы». Вслед за этим последовал указ о бритье волос у всех городских дам высшего света. Это распоряжение было обусловлено вовсе не стремлением царицы ввести новую моду, а тем, что в погоне за красотой Елизавета неудачно покрасила волосы и была вынуждена с ними расстаться. Но при этом она захотела, чтобы и другие дамы двора разделили с ней печальную участь, чем и был вызван беспрецедентный указ.

Судя по мемуарам, Екатерина II не испытывала теплых чувств к Елизавете, но с ней нельзя не согласиться в том, что в характере Елизаветы было «много тщеславия, она вообще хотела блестеть во всем и служить предметом удивления»<sup>38</sup>.

Жила Елизавета в необычном режиме. Как правило, она спала днем и бодрствовала ночью, обедая и ужиная после полуночи в кругу ближайших людей за специальным столом, который мог опускаться на нижний этаж и таким образом обслуживаться без присутствия слуг. О таких столах говорится в «Записке бытности в Царском Селе чужестранных министров» от 7 октября 1754 г.: «Перед обедом министры с особливым любопытством рассматривали машины столовые, а после обеда в скорости оные столы опущены и полы переведены были, чему особенно удивлялись»<sup>39</sup>.

Ночные бдения царицы были чрезвычайно неудобны для чиновников, приходивших к ней с государственными делами (ведь они работали, как обычно, днем), да и для всех лиц, связанных с императрицей. Ювелир Позье писал в мемуарах: «Она никогда не ложилась спать ранее шести часов утра и спала до полудня и позже, вследствие этого Елизавета ночью посыпала за мною и задавала мне какую-нибудь работу, какая найдет ее фантазия. И мне иногда приходилось оставаться всю ночь и дожидаться,

пока она вспомнит, что требовала меня. Мне иногда случалось возвратиться домой и минуту спустя быть снова потребованным к ней: она часто сердилась, что я не дождался ее»<sup>40</sup>.

Придворным было труднее — они не имели права покинуть двор. Екатерина II сообщает: «...никто никогда не знал часа, когда е. и. в. угодно будет обедать или ужинать, и часто случалось, что эти придворные, проиграв в карты (единственное развлечение) до двух часов ночи, ложились спать, и только что они успевали заснуть, как их будили для того, чтобы присутствовать на ужине е. в.; они являлись туда, и так как она сидела за столом очень долго, а все они, усталые и полусонные, не говорили ни слова, то императрица сердилась... Эти ужины кончались иногда тем, что императрица бросала с досадой салфетку на стол и покидала компанию»<sup>41</sup>.

Такой ненормальный образ жизни императрицы некоторые исследователи связывают с ее боязнью стать жертвой ночного переворота. Это понять можно. Есть известия, что Бирон, свергнутый Минихом, даже за крепкими стенами тюрьмы долго не мог спать по ночам, страдая припадками страха во сне. Думается, что императрица не без содрогания читала следующие строки допроса камер-лакея А. Турчанинова, арестованного в 1742 г. вместе с прaporщиком Преображенского полка П. Квашнином и сержантом Измайловского полка И. Сновидовым по обвинению в заговоре против Елизаветы: «Квашнин после того в разные времена говорил, что он начал собирать партию и собрал уже пятьсот человек и с тем Турчаниновым придумал, чтоб тех собранных разделить надвое и ночным временем прийти к дворцу и захватить караул, войти в покой к е. и. в. и е. и. в. умертвить, а с другой половиною Турчанинову заарестовать лейб-кампанию, а кто из них противиться [станет], колоть до смерти... А по прошествии того дня тому Турчанинову он, Квашнин, говорил: с собранною-де партиею он было шел ко дворцу, и навстречу-де попался им вице-сержант Ивинский, и они-де, увидя его, разошлись. По приезде же в Москву он, Квашнин, с тем Турчаниновым о том же злом своем намерении упоминали, и притом он говорил, что-де прошло, тому быть так, а и впредь-де то дело не уйдет, и нами ль или не нами, только-де оное исполнится»<sup>42</sup>.

Примечательной чертой поведения Елизаветы (возможно, тоже связанной с боязнью покушения) была ее страсть к перестановкам и перестройкам. Екатерина свидетельствует, что императрица «не выходила никогда из своих покоев на прогулку или в спектакль без того, чтобы в них не произвести какой-нибудь перемены, хотя бы только перенести ее кровать с одного места комнаты на другое или из одной комнаты в другую, ибо она редко спала два дня подряд на том же месте; или же снимали перегородку либо ставили новую; двери точно так же постоянно меняли места». Возможно, Екатерина несколько преуве-

личила частоту перестроек и перестановок, но примечательно, что А. Бенуа, прекрасно знавший историю Царскосельского дворца, писал: «Ни одна из просмотренных нами описей не выясняет с безусловной достоверностью, где была расположена опочивальня императрицы... Один из документов даже ясно указывает на то, что Елизавета не всегда останавливалась в одном и том же месте, и это нам станет понятно, если мы еще раз вспомним об ее страхе перед «ночным переворотом»<sup>43</sup>.

Для Елизаветы были характерны также внезапные отъезды и возвращения, что весьма беспокоило дипломатическое ведомство, опасавшееся распространения среди иностранных дипломатов нежелательных слухов о положении в России. Канцлер А. П. Бестужев-Рюмин писал М. И. Воронцову в декабре 1744 г. по поводу очередного внезапного отъезда царицы: «...нынешний толь нечаянный и скорой из С.-Петербурга возвратной отъезд повод даст при всех иностранных дворах к разным рассуждениям». Иностранные, конечно, замечали странности в поведении Елизаветы. 21 июня 1743 г. французский резидент д'Алион писал, что Елизавета вдруг в 10 часов вечера с несколькими приближенными покинула столицу и уехала ночевать в Царское Село<sup>44</sup>.

Перестановки, перестройки, внезапные переезды, столь примечательные для стиля жизни Елизаветы, были вызваны не только страхом перед переворотом, но и особенностями характера императрицы — человека неуравновешенного, импульсивного и беспокойного. В этом нельзя не усмотреть черт, присущих ее отцу. Как и Петр, Елизавета была очень подвижна и нетерпелива. По отзывам современников, она не могла даже выстоять на одном месте церковную службу и все время перемещалась по храму, иногда же вообще покидала его, не дослушав литургии. Как и Петр, она была легка на подъем, часто и подолгу путешествовала. Особенно любила Елизавета быструю зимнюю езду: расстояние от Петербурга до Москвы — 715 верст — она преодолевала за трое суток, причем в дороге находилась лишь двое суток, т. е. путешествовала с очень высокой для XVIII в. скоростью — 14,5 версты в час. Правда, цели ее путешествий — охота, прогулки, богомолье — существенно отличались от целей путешествий ее отца — дипломата и полководца.

Дипломатов шокировали и другие казавшиеся странными привычки императрицы. Д'Алион в своем донесении писал, что «недавно видели, как отправилась она в Петергоф и в коляске у нее сидели женщины, про которых известно, что полтора года назад они мыли у нее полы во дворце». Это сообщение совпадает с рассказом Екатерины II оочных обедах царицы с самыми доверенными людьми, среди которых бывали ее горничные, певчие «и даже ее лакеи». По этому поводу д'Алион не удержался от сентенции: «По-видимому... эта государыня вовсе не думает о том, чтобы подданные ее уважали ее»<sup>45</sup>.

Простота поведения — характерная черта Елизаветы — воспринималась знатью как свидетельство «низости» происхождения цесаревны, а потом императрицы. Сановники и их жены, сами не блиставшие добродетелями, в узком кругу осуждали «ветреность», «несерьезность» Елизаветы. Лопухины, арестованные в 1743 г. по подозрению в заговоре, клеймили Елизавету за пристрастие к английскому пиву, говорили, что царица «непорядочно просто живет, всюду и непрестанно ездит и бегает»<sup>46</sup>. Простоту поведения Елизавета, несомненно, усвоила с детских лет в семье Петра и Екатерины, она была для нее естественной и удобной чертой общения.

Анализ дошедших до нас источников показывает, что поступкам Елизаветы была присуща известная противоречивость, нередко делавшая их необъяснимыми для тех, кто самонадеянно полагал, что знает характер «ветреной», добродушной и подверженной влияниям императрицы и может этим воспользоваться. Лишь только наиболее проницательные современники сумели понять двойственность характера Елизаветы, все своеобразие ее натуры.

Жена английского посланника леди Рондо в 20—30-х годах часто видела цесаревну Елизавету и разговаривала с ней. В своем дневнике 1735 г. она записала: «Своим приветливым и кратким обращением она нечувствительно внушает к себе любовь и уважение. В обществе она выказывает непритворную веселость и некоторый род насмешливости, которая, по-видимому, занимает весь ум ее; но в частной жизни она говорит так умно и рассуждает так основательно, что все прочее в ее поведении, без сомнения, не что иное, как притворство. Она, однако, кажется искренней, я говорю — кажется, потому что никто не может читать в ее сердце». Через четверть века другой наблюдатель — французский дипломат Ж.-Л. Фавье еще более глубоко проник в сущность характера Елизаветы: «Сквозь ее доброту и гуманность... в ней нередко просвечивает гордость, высокомерие, иногда даже жестокость, но более всего — подозрительность. В высшей степени ревнивая к своему величию и верховной власти, она легко пугается всего, что может ей угрожать уменьшением или разделом этой власти. Она не раз высказывала по этому случаю чрезвычайную щекотливость. Зато императрица Елизавета вполне владеет искусством притворяться. Тайные изгибы ее сердца часто остаются недоступными даже для самых старых и опытных придворных, с которыми она никогда не бывает так милостива, как в минуту, когда решает их опалу. Она ни под каким видом не позволяет управлять собой одному какому-либо лицу, министру или фавориту, но всегда показывает, будто делит между ними свои милости и свое мнимое доверие»<sup>47</sup>.

Многие наблюдения Фавье подтверждаются источниками разного характера и происхождения. В особенности это относится к тем письмам Елизаветы, которые не были предназначены для

широкого круга современников и тем более для любопытствующих потомков.

Краткий и суровый стиль писем Елизаветы в Тайную канцелярию, часто подчеркивавшей в указах для публикации свое «природное матернее великодушие», поразительно напоминает стиль писем ее никогда не слышавшего гуманным отца в то же самое учреждение. Внимательно следя за делом Лопухиных, в 1743 г. она писала о Софье Лиlienфельд и ее муже: «...надлежит их в крепость всех взять и очною ставкою производить, несмотря на ее болезнь (подследственная была беременна.—*E. A.*), понеже коли они государево здоровье пренебрегали, то плutoф и наипаче жалеть не для чего, лучше чтоб и век их не слыхать, нежели еще от них плodoф ожидать. А что они запирались, и в том верить нельзя, понеже, может быть, они в той надежде были, что только спросят, а ничего не зделают, то для того и не хотели признаться»<sup>48</sup>.

Не менее рельефно отражают характер Елизаветы и ее письма к родным. В 1732 г. умер дядя цесаревны Ф. С. Скавронский. Его вдова пыталась вступить в права владения имением умершего, что вынудило прелестную цесаревну сурово отчитать родственницу: «...извольте в том себя предостеречь, и в те вотчины вступать вам не надлежит, ибо зело мне удивительно, что вы, зная мою к себе любовь, вступаете не в свое дело... Для того я надеюсь, что вы не забыли, что я большая у вас»<sup>49</sup>.

Демократизм Елизаветы был подчас показным, преследовал цель упрочить ее популярность в среде более широкой, чем знать. Елизавета подобно Петру крестила детей солдат и горожан, присутствовала на их свадьбах, пировала с гвардейцами, подносила чарку голландским шкиперам, ездила без охраны, подчеркивая при этом: «Если отец мой здесь (в Эстляндии.—*E. A.*) в каждом доме мог спокойно спать, то и я тоже». Но было достаточно малейшей угрозы ее безопасности, и предполагаемое путешествие тотчас отменялось, как и в случае с путешествием по Эстляндии<sup>50</sup>.

Показной и лишенной даже намека на аскетизм была и набожность Елизаветы. За 1728 г. сохранилось известие о пешем походе цесаревны из Москвы в Троице-Сергиеву лавру в компании тогдашнего фаворита А. Б. Бутурлина. Впоследствии она не раз совершала такие «богоугодные» путешествия. Пройдя 5—10 км в окружении блестящих кавалеров, Елизавета останавливалась на отдых в великолепных шатрах, где удобства и стол мало чем отличались от дворцовых. Там она жила день, другой, каталась верхом, ездила на соколиную охоту, а иногда садилась в карету и возвращалась в город «для отдохновения». Затем со свитой императрица возвращалась на место отдыха и возобновляла пеший поход «к угодникам». Не удивительно, что такие походы длились целыми неделями.

Кроме Троицы Елизавета «хаживала» в Тихвин на поклон

Тихвинской божьей матери, совершила длительное путешествие в Киево-Печерскую лавру. Путь императрицы пролегал по родным местам ее тогдашнего фаворита А. Г. Разумовского и напоминал триумфальное шествие. Только на станциях по пути следования императрицы было выставлено под кортеж 23 тыс. лошадей. Впоследствии Екатерина II писала об этом путешествии: «Императрица тратила много времени на остановки, а также шла пешком и ездила очень часто на охоту. Наконец, 15 августа (1744 г.—Е. А.) она приехала в Козелец. Там постоянно только и было, что музыка, балы да игра, которая заходила так далеко, что иногда на разных игорных столах валялось от сорока до пятидесяти тысяч рублей»<sup>51</sup>. Пожалуй, только женщина, писавшая эти строки, сумела 30 лет спустя перещеголять Елизавету, совершив еще более грандиозное и дорогостоящее путешествие в Новороссию, вошедшее в историю знаменитыми «потемкинскими деревнями».

Если набожность императрицы была показной, то ее склонность к суевериям — настоящей. Елизавета искренне верила в колдовство, духов, сглаз, панически боялась вида покойников и похорон и постоянно возила с собой «моши» святых. В отличие от своего знаменитого отца, который довольно безразлично относился к религии и боролся с многочисленными «чудесами», Елизавета «с большой набожностью... рассказывала, что некогда шведы осадили... монастырь (Тихвинский.—Е. А.), но что небесный огонь прогнал их и что они побросали даже свою посуду». Всерьез пыталась Елизавета и предотвратить кораблекрушение движением ладанки с «мошами» в направлении, обратном волнам.

В частной жизни царицы, в общении с родственниками, ближайшими придворными и слугами особенно ярко проявлялись такие неприглядные черты ее характера, как мелочность, подозрительность, грубость. Елизавета была капризна и подчас нетерпима к людям. Даже разговор за столом вести с ней было нелегко. Екатерина II, зная Елизавету 15 лет, достаточно хорошо изучила нрав императрицы. Вот продолжение описания известного читателю ночного обеда, когда клевавшие носом придворные возмутили Елизавету своим молчанием: «А нужно при этом заметить, что говорить в присутствии е. в. было задачей не менее трудной, чем знать ее обеденный час. Было множество тем разговора, которых она не любила: например, не следовало совсем говорить ни о короле прусском, ни о Вольтере, ни о болезнях, ни о покойниках, ни о красивых женщинах, ни о французских манерах, ни о науках — все эти предметы разговора ей не нравились. Кроме того, у нее было множество суеверий, которых не следовало оскорблять; она также бывала настроена против некоторых лиц и... склонна перетолковывать в дурную сторону все, что бы они ни говорили, а так как окружавшие охотно восстанавливали ее против очень многих, то никто не мог быть уве-

рен в том, не имеет ли она чего-нибудь против него; вследствие этого разговор был очень щекотливым».

В гневе Елизавета не знала меры, лицо ее искажалось, глаза горели. Екатерина так описывает одну из подобных сцен: «Она меня основательно выбрила, гневно и заносчиво... я ждала минуты, когда она начнет меня бить, по крайней мере я этого боялась: я знала, что она в гневе иногда била своих женщин, своих приближенных и даже своих кавалеров»<sup>52</sup>.

Вся неделя императрицы была расписана между куртагами, концертами, театром, балами и маскарадами. Указом 10 сентября 1749 г. последовательность развлечений была даже регламентирована: «...отныне впредь при дворе каждой недели после полудня быть музыке: по понедельникам — танцевальной, по средам — итальянской, а по вторникам и в пятницу, по прежнему указу, быть комедиям». Вот как, например, согласно камер-фурьерскому журналу, Елизавета провела январь 1751 г.: 1 января — празднование Нового года; 2 — маскарад; 3 — в гостях у А. Б. Бутурлина; 5 — сочельник; 6 — водосвятие, французская трагедия «Алзир»; 7 — французская комедия «Жуор»; 8 — придворный маскарад; 9 — гуляние по улицам в карете, посещение П. С. Сумарокова; 13 — литургия, куртаг; 15 — придворный бал, новые танцы; 18 — публичный маскарад; 20 — куртаг, французская комедия; 22 — придворный маскарад; 24 — русская трагедия; 25 — французская комедия; 28—29 — участие в свадьбе придворных. Примерно таким же было времяпрепровождение царицы и в другие месяцы и годы. Так, за октябрь — ноябрь 1744 г. Елизавета присутствовала на четырех куртагах, пяти банкетах, восьми маскарадах, восемь раз была в театре и слушала музыку и два раза выезжала за город. Итак, из 60 дней только на развлечения (а для царицы весьма была важна подготовка к ним, а потом — «отдохновение») ушло около месяца<sup>53</sup>.

Однако значение камер-фурьерских журналов как источника для жизнеописания Елизаветы не следует преувеличивать. Они не являются дневниками в подлинном смысле слова и уступают в подробности и точности записей «поденным запискам» А. Д. Меншикова или Б. П. Шереметева. Журналы зафиксировали лишь одну, официальную сторону жизни царицы, хотя и это, бесспорно, производит впечатление. Образ жизни и характер императрицы позволяют предположить, что она практически не занималась управлением государства и передоверяла дела своим министрам и фаворитам.

Но есть документы и другого рода, которые значительно дополняют данные журналов. Речь идет о ежедневных записях докладов Коллегии иностранных дел, сохранившихся за 1742—1756 гг. Они содержат сведения о занятиях Елизаветы вопросами внешней политики. Согласно камер-фурьерскому журналу, за 10 дней октября 1744 г. Елизавета участвовала в пяти маскарадах, трижды посещала театр и дважды выезжала за город,

а дневник Коллегии показывает, что в этом же месяце Елизавета шесть дней посвятила внешнеполитическим делам. Во время известного читателю путешествия в Киев летом 1744 г. по прибытии в Козелец, где, по словам Екатерины II, шли непрерывные празднества и карточная игра, Елизавета между тем в течение пяти дней работала с вице-канцлером М. И. Воронцовым. В Киеве, где две недели императрица развлекалась и молилась, она шесть раз рассматривала разнообразные внешнеполитические дела. В 1744 г. Елизавета уделяла внешней политике не менее двух дней в неделю, а в 1743 г.— в среднем неделю в месяц<sup>54</sup>.

Более того, дневники Коллегии позволяют утверждать: Елизавета не всегда бездумно подписывала указы, а нередко входила во многие сложные вопросы политики, высказывала свое мнение, дополняла и изменяла подготовленные дипломатические документы. Следы деятельности Елизаветы содержат и другие документы, опубликованные в многотомном «Архиве князя Воронцова». Так, там находятся выписки из иностранной прессы, сделанные специально для Елизаветы.

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и то, что в те времена многие внешнеполитические дела решались именно на придворных раутах, куртагах и маскарадах. В том, что при Елизавете так и было, не приходится сомневаться. В 1745 г. Елизавета писала М. И. Воронцову о важном известии (появлении на границе австрийских войск, которые могли воспрепятствовать поездке вице-канцлера): «Я сей момент услышала от принцессы Сербской об одном случае. Только что вышла в маскарад, то она мне письмо от мужа показала, что бошняки на границе стоят... и для того часа, не мешкавши, как возможно оному курьеру скакать велела»<sup>55</sup>. Многие из аккредитованных при русском дворе дипломатов сообщали своим правительствам о беседах с Елизаветой на дипломатические темы во время придворных празднеств.

Однако пристальный интерес Елизаветы к внешней политике отнюдь не свидетельствует о том, что императрица была крупным дипломатом. Ее интерес к внешней политике объясняется проще. Во-первых, многие внешнеполитические дела не могли решаться без подписи императрицы. Во-вторых, к внешнеполитическим делам было тогда особое отношение: они считались «ремеслом королей». Людовик XV — современник Елизаветы — после смерти кардинала Флери полностью сосредоточил всю внешнюю политику в своих руках, а уж о Фридрихе II — подлинном руководителе внешней политики Пруссии — говорить не приходится.

Примечательно письмо А. П. Бестужева-Рюмина русскому послу в Дании И. А. Корфу от 7 мая 1745 г., в котором канцлер поощряет посла и далее «свободно продолжать... рассуждения и известия, а особенно из Швеции приходящие и касающиеся до е. и. в. высочайшего дома и интереса; также и княжеской Гольстинской фамилии». Бестужев подчеркивает: «...е. и. в. сама чи-

тать изволит... и, будьте уверены, что оними всегда е. в. бывает довольна»<sup>56</sup>. Внешнеполитические дела представлялись Елизавете важными потому, что речь в них очень часто шла о крайне волновавших ее (как, впрочем, и других монархов) династических проблемах. Не исключено, что императрицу внешнеполитические дела интересовали и потому, что в отличие от «скучных» финансовых, торгово-промышленных и вообще внутренних дел они были персонифицированы. Говорилось не просто о политике Пруссии, Франции или Австрии, а о политике конкретных людей: Фридриха II, Людовика XV или Марии Терезии. С годами складывалось определенное отношение к их личностям, и политика властителя идентифицировалась с политикой государства. В глазах Елизаветы это придавало внешней политике элемент игры, интриги, увлекательного заочного соперничества или дружбы.

В целом источники рисуют Елизавету как человека живого, легковозбудимого, неуравновешенного. В ее характере проступают черты сходства с Петром, но это лишь внешняя, несущественная похожесть. Воспитание, ориентированное на брак с каким-либо иностранным принцем, и годы, проведенные вдали от серьезных дел, наложили свой отпечаток на характер, склонности и привычки Елизаветы. Не унаследовав глубокого ума своего великого отца, она не усовершенствовала чтением (подобно будущей Екатерине II) свои способности и в результате, став императрицей, оказалась не только не подготовленной, но и не способной управлять сложными государственными делами. Елизавета была лищена не только склонности к труду, но и даже тщеславия прослыть мудрой правительницей. Вступив на престол, она сразу погрузилась в мир бездумного времяпрепровождения, уделяя основное внимание нарядам, фаворитам, охоте, танцам. Располагая огромной властью абсолютного монарха, она пользовалась ею прежде всего для того, чтобы удовлетворить свои бесчисленные, не имевшие границ капризы и прихоти.

Скрытность, подозрительность к окружающим, ревнивое отношение к действительным, а чаще мнимым посягательствам на ее власть причудливо сочетались у Елизаветы с нерешительностью, почти полной несамостоятельностью в государственных делах, что приводило к господству временщиков и «сильных персон», подобных П. И. Шувалову.

Невольно поражаешься тому, что, хотя на протяжении почти 40 лет после смерти Петра русский престол переходил от одной ничтожной личности к другой, система абсолютизма и его основные институты остались неизменными. Коренным образом перестроенная Петром бюрократическая машина в эти годы продолжала работать как бы сама по себе, получая импульсы для своего движения не от носителя верховной власти, а из иных, скрытых источников. Корни устойчивости абсолютизма Елизаветы — в относительной стабильности классового господства дворянства

в XVIII в., в том, что режим абсолютизма был приемлем и даже желателен для всего класса-сословия дворян, ибо обеспечивал ему безраздельное господство над другими сословиями. В конечном счете это обеспечивало неограниченную власть тем ничтожным личностям, которые волею судьбы оказались на троне великой империи.

Что касается Елизаветы, то при ней абсолютизм не только укрепился, но и приобрел необычайный, ослепительный блеск роскоши. Как известно, царствование Елизаветы стало временем господства художественного стиля барокко, причем барокко 40—60-х годов XVIII в. существенно отличалось от барокко начала XVIII в. Это различие в сфере искусства, естественно отражавшего общий стиль культуры, удачно определила Н. Н. Коваленская: характерное для петровского барокко «познавательное отношение к миру ослабляется в пользу пассивно-чувственного его восприятия. Не смысловая сторона предмета интересует художника и зрителя... а лишь то, что непосредственно обращается к органам чувств и доставляет человеку удовольствие. Это переливы цвета и многообразные оттенки фактуры вещей — блестящий, тугой шелк, влажные губы, холеное тело, пышные каскады волос, блеск золота и бриллиантов и т. д. Но и эта материальность дается все с той же небрежностью живописного стиля. В скульптуре основной задачей становится показ движения и расчет на чувственное восприятие тела, далекое от изучения его основных закономерностей»<sup>57</sup>.

Барокко елизаветинской поры как нельзя кстати соответствовало вкусам императрицы и в немалой степени способствовало тому внешнему блеску, который был присущ жизни двора Елизаветы. Но еще важнее то, что при Елизавете барокко во всем его многообразии было с оптимальной полнотой использовано для утверждения политической силы абсолютизма. С помощью пышности и величественности барокко в глазах подданных утверждались незыблемость существующего порядка и почти неземное величие носителя абсолютной власти, достигшей к середине XVIII в. своего апогея.

Современников поражали масштабы и красота жилищ императрицы. При Елизавете строилось большое количество дворцов — путевых, зимних, летних. Только на дороге Петербург — Москва при Елизавете было 25 путевых дворцов — в среднем через 20—30 верст. Многие из дворцов строились из дерева в течение нескольких недель и предназначались лишь для одноразового посещения императрицей. Другие возводились из камня годами и более чем на 200 лет пережили своих хозяев и своих создателей. Среди зодчих самым выдающимся был Варфоломей Варфоломеевич Растрелли (1700—1771 гг.). В царствование Елизаветы гений Растрелли достиг своего расцвета. Именно в 40—60-е годы XVIII в. Растрелли создал свои шедевры: Смольный и Андреевский (в Киеве) соборы и целую серию дворцов:

в подмосковных селах Перове и Покровском-Рубцове, дворцы Воронцова, Строганова и Штегельмана в Петербурге, дворец императрицы при выезде из города (у Средней Рогатки) и, наконец, Третий Зимний дворец и Большой дворец в Царском Селе<sup>58</sup>.

Идет уже третье столетие, как построены Зимний и Царскосельский дворцы, но они не перестают удивлять людей своей красотой. А уж о современниках Елизаветы и говорить не приходится: на их памяти эти величественные здания возникли на пустом месте, как по мановению волшебной палочки. Еще в 30-х годах XVIII в. Царское Село (его название произошло от финского *Saari тоjs* — возвышенная местность) было неуютным, отдаленным от столицы местом. Здесь стоял скромный дворец цесаревны, перешедший к ней по наследству от матери — Екатерины I. Дворец окружали леса, в которых цесаревна охотилась со своими придворными. Место было глухое и даже небезопасное. Сохранилось собственноручное письмо Елизаветы из Царского Села к одному из своих служителей в Петербурге от 22 июня 1735 г.: «Степан Петрович! Как получите сие письмо, в тот час вели купить два пуда пороху, 30 фунтов пуль, дроби 20 фунтов и купивши сей же день, прислать к нам сего ж дня немедленно, понеже около нас разбойники ходят и кросились меня расбить»<sup>59</sup>.

С приходом Елизаветы к власти все переменилось. Царское Село часто посещается императрицей и во второй половине 40-х годов оглашается шумом стройки: по проекту Растрелли начинается возведение Большого дворца. Одиннадцать лет строится дворец и к началу 1760 г. становится практически главной резиденцией императрицы, так как Зимний дворец был еще не пригоден для жилья, и его обновил уже Петр III.

Большой Царскосельский дворец Елизаветы был необычайным сооружением. Уже издали перед подъезжающими к Царскому Селу гостями императрицы открывалось сказочное зрелище. На фоне зелени и неба сиял своими золотыми украшениями огромный голубой дворец. Золото было везде. Как писал сам Растрелли, «весь фасад Дворца был выполнен в современной архитектуре итальянского вкуса; капители колонн, фронтоны и наличники окон, равно как и столпы, поддерживающие балконы, а также статуи, поставленные на пьедесталах вдоль верхней балюстрады Дворца,— все было позолочено»<sup>60</sup>. Впечатление еще более усиливалось, когда, выйдя из карет, гости подходили к дворцу.

Вот как описывает прекрасный знаток Большого Царскосельского дворца Александр Бенуа то, что могли увидеть гости Елизаветы: «Через светлую, украшенную золоченою резьбою дверь, на которой лепилась картуш с государственным гербом, входили в самый дворец. Сразу же из первой залы открывалась нескончаемая анфилада позолоченных и густо разукрашенных комнат.

В глубине этого таинственного лабиринта, за бесчисленными дверями и стенами жило мифическое существо — «сама благочестивая государыня императрица». Оттуда, из глубины-глубин, точно из какого-то зеркального царства, подвигалась она в высокоторжественных случаях и выходила к толпившимся в залах подданным. Медленно превращалась она из еле видной, но сверкающей драгоценностями точки в явственно очерченную, шуршащую парчой и драгоценностями фигуру». Миновав анфиладу проходных комнат — антикамер с их расписанными Д. Валериани и другими живописцами плафонами, наборными паркетами полов, позолоченной резьбой и орнаментами, гости попадали в Галерею — Большой зал, украшенный тремя рядами огромных зеркал, которых было более 300.

Из Большого зала гости могли пройти в не менее великолепные комнаты, среди которых выделялись Китайская, Янтарная и Картинная-столовая. А. Бенуа так описывает последнюю: «Вся поверхность стен этого зала (за исключением мест, занятых дверьми с их роскошной резьбой, двумя монументальными изразцовыми печами, простенками и окнами) покрыта сплошь картинами (всего 101.—*E. A.*), отделенными одна от другой тонким золоченым багетом. Эта «варварская» с точки зрения современной музейной техники развеска имеет, однако, свою декоративную прелест. Потускневшие от времени краски этих полотен сливаются в однозвучный и благородный аккорд. Глаз скользит по роскошному полу, целиком состоящему из ценных произведений искусства... Стены Картинного зала напоминают древние пиры, когда столы ломились под нагроможденными яствами, а приглашенные насыщались одним видом такого изобилия, не успевали и не могли отведать и десятой части угощений. Желанный эффект был достигнут: гости уходили, пораженные богатством хозяев. Едва ли Елизавета, любившая, правда, живопись, но не имевшая к ней глубокого отношения, желала произвести иное впечатление на своих приглашенных. Весь дворец, с его наружной и внутренней позолотой, с его сказочной и даже разнужданной роскошью, должен был давать представление о каком-то сверхчеловеческом богатстве. И картинная коллекция не могла при этом предъявлять права на самостоятельное значение. Картины совсем так же, как и золото, и янтарь, и полы из заморских дерев, и горы редкого фарфора, должны были в своей совокупности, в своей массе говорить о чрезвычайных сокровищах императорского дома, а следовательно, и об его могуществе...»

Из парадных комнат гости попадали на террасу одноэтажной галереи между церковью и правым флигелем, на которой был разбит сад. «Общее впечатление от этого висячего сада было, вероятно, фантастическое. Стоя у стены правого флигеля, посетитель наблюдал приблизительно следующую картину. С обеих сторон вглубь уходили колоннады внутренних сторон с их раззо-

лоченными капителями, орнаментами и статуями. Всю глубину этого странного зала без потолка занимал фасад церкви с ее полуколокольней, а над ним сверкали в воздухе золоченные купола и кресты. Вместо рисунка штучного паркета изгибалась пестрые и яркие разводы цветников, мебель состояла из каменных скамей, расположенных под вишнями, яблонями и груша-ми»<sup>61</sup>.

Современников удивляли не только апартаменты императрицы, но и грандиозные церемонии и празднества, проводившиеся в них. Д. И. Фонвизин вспоминал впоследствии свое юношеское впечатление от дворца Елизаветы: «Признаюсь искренно, что я удивлен был великолепием двора нашей императрицы. Везде сияющее золото, собрание людей в голубых и красных лентах (высших орденов.—E. A.), множество дам прекрасных, наконец, огромная музыка — все сие поражало зрение и слух мой, и дворец казался мне жилищем существа выше смертного»<sup>62</sup>.

А вот свидетельство не скромного тогда гимназиста, приехавшего в столицу из Москвы, а опытного французского дипломата де ла Мессельера, выдавшего ослепительный блеск версальских торжеств: «Красота и богатство апартаментов невольно поразили нас, но удивление вскоре уступило место приятнейшему ощущению при виде более 400 дам, наполнявших оные. Они были почти все красавицы в богатейших костюмах, осыпанных бриллиантами. Но нас ожидало новое зрелище: все шторы были разом спущены и дневной свет внезапно был заменен блеском 1200 свечей, которые отражались со всех сторон в многочисленных зеркалах... Загремел оркестр, состоящий из 80 музыкантов... Вдруг услышали мы глухой шум, имевший нечто весьма величественное. Двери внезапно отворились настежь, и мы увидели великолепный трон, с которого сошла императрица, окруженная своими царедворцами, и вошла в большую залу. Воцарилась всеобщая тишина... В 11 часов обер-гофмейстер объявил е. в., что ужин готов. Все перешли в очень большую и богато убранную залу, освещенную 900 свечами. Посередине стоял стол на 400 персон. На хорах во время ужина гремела вокальная и инструментальная музыка. Были кушанья всех возможных стран Европы, и прислуживали русские, немецкие и итальянские официанты, которые старались ухаживать за своими соотечественниками». Иногда в центре стола устраивался настоящий фонтан «с кашкадами», украшенными горящими свечами, число которых, например, на новогоднем празднике 1751 г. составляло 3 тыс.<sup>63</sup>

Дежурными были несколько тостов: «Высочайшего здоровья», «Благополучного владения», «Доброго мира или щасливой войны» и т. п. После каждого тоста звучал салют из 20—30 пушек. Балы, обеды, маскарады, концерты, театральные представления, фейерверки и иллюминация шли непрерывной чередой, превращая жизнь императрицы в вечный праздник.

Особое место в придворной жизни, начинавшейся, как пра-

вило, вечером, занимали маскарады. Это были сложные «увеселительные мероприятия»: маскарадные костюмы, танцы и музыка являлись далеко не единственными их атрибутами. До нас не дошло подробных описаний маскарада при дворе Елизаветы, но сохранилась афиша, выпущенная в Москве в 1759 г. итальянским антрепренером Локателли и приглашавшая москвичей посетить маскарад в «Оперном доме» (театре). Она позволяет в самых общих чертах представить, как проводились маскарады в середине XVIII в.

Гости приезжали уже в костюмах и масках согласно врученным им (или купленным) билетам. Допускались и люди без масок. Их размещали в ложах, где они могли наблюдать за танцующими в партере и на сцене и веселиться «только зренiem». В окружающих зал помещениях выставлялись чай, кофе, шоколад, вина, фрукты, конфеты. Кроме того, уведомлял Локателли, «на разных столах в особливых комнатах будут держать наличных денег банк Форо» и желающие могут «в сию игру веселиться», а также принять участие в лотерее, в которой будут разыграны «разные вещи, золотые и серебряные галантереи, парцилии (фарфор) саксонской» и будет продано около 1 тыс. билетов, из них «некоторое число и пустых», по цене «25 копеек, а вещи в оной будут стоить некоторые до 200 рублей; всякой может вынимать билеты своими руками». Локателли предупреждал, что «в самых подлых платьях маски... впусканы быть не имеют»<sup>64</sup>. Запрет был связан с желанием гостей не тратиться на шитье дорогих костюмов и прийти на маскарад в одежде «пастушков» и «пастушек», мало чем отличавшихся от повседневных нарядов их горничных и дворовых.

Конечно, бал-маскарады в царском дворце были еще более великолепными. По свидетельству знаменитого Казановы, приехавшего в Россию в 1765 г., «в некоторых покоях помещались буфеты внушительной наружности, ломившиеся под тяжестью съедобных вещей, которых достало бы для насыщения самых дюжих аппетитов. Вся обстановка бала представляла зрелище причудливой роскоши в убранстве комнат и нарядах гостей, общий вид был великолепный»<sup>65</sup>.

Все торжества и праздники сопровождались, как тогда писали, «вокальной и инструментальной музыкой». Ее репертуар был весьма обширным: обеды и ужины во дворце продолжались по 4—7 часов и проходили под непрерывный аккомпанемент оркестра, хора и вокалистов. В елизаветинское время музыка стала составной и непременной частью жизни дворца и петербургского дворянства. Именно елизаветинское барокко, в изобилии поставлявшее абсолютизму внешние атрибуты роскоши, в то же время сыграло и положительную роль в истории русской культуры, дав мощный стимул развитию русской живописи и музыки.

В немалой степени увлечение музыкой определяли вкусы императрицы — человека с несомненными музыкальными способ-

ностями. Сведения о песенном творчестве и пении Елизаветы есть в различных источниках. Историки русской музыки традиционно связывают с именем Елизаветы происхождение двух песен, которые она «распела», т. е. сочинила, в 30-е годы XVIII в. Я. Штедлин сообщал, что в придворной капелле находился специальный пульт, за которым императрица пела вместе с искуснейшими певцами. Г. Р. Державин даже называл царствование Елизаветы «веком песен». Другой современник писал, что при русском дворе наряду с итальянской музыкой были в почете русские народные песни и пляски. Во время антракта в спектакле «музыка русская песни играла и пели певчие песни, а по сем танцовщицы Агрофена и Аксинья русскую пляску танцевали... А е. и. в. изволили сказать, что русское всегда более на сердце русского действие производит, чем чужестранное». То, что сама Елизавета любила петь, подтверждают и материалы Тайной канцелярии, куда в 1743 г. привлекли солдата С. Поспелова, стоявшего незадолго до переворота 25 ноября 1741 г. на посту во дворце цесаревны и слышавшего, как она, стоя на крыльце, «соизволила петь песню: «Ох, житье мое, житье бедное»...». Поспелов рассказал об этом случае своему товарищу Ермолову, который отозвался о цесаревне без особого почтения: «Баба... бабье и поет»<sup>66</sup>.

Однако не русская музыка и пение составляли основу репертуара придворных музыкантов. При Елизавете достиг расцвета придворный оркестр, долгие годы возглавляемый известным итальянским композитором Франческо Арайя (1700—1770 гг.), которого в 1759 г. сменил Герман Раупах (1728—1779 гг.). Показателем внимания к оркестру служит увеличение в 1757 г. расходов на него более чем в 4 раза по сравнению с 1740 г. Оркестр состоял из высококлассных итальянских и немецких музыкантов и исполнял преимущественно итальянскую и французскую музыку. Достаточно высокая музыкальная культура слушателей позволяла использовать оркестр не только для улучшения аппетита гостей императрицы, но и для проведения концертов. Примечательной чертой того времени была организация первых публичных концертов. Так, за 1748 г. сохранилась афиша-объявление: «По желанию любителей музыки еженедельно по средам, после обеда, в 6 часов, в доме князя Гагарина, что на Адмиралтейской стороне, на улице Большой Морской против немецкого театра, будут устраиваться концерты по образцу итальянских, немецких и голландских». На концертах разрешалось присутствовать горожанам и купцам. Вход запрещался только «пьяным, лакеям и распутным женщинам»<sup>67</sup>.

При Елизавете русские слушатели впервые познакомились с арфой, гитарой, мандолиной. Особую известность получила роговая музыка. Ее изобретателем был приехавший из Чехии в 1748 г. валторнист Иоганн Антон Мареш. При поддержке оберегермейстера С. Н. Нарышкина он усовершенствовал роговые

инструменты и создал уникальный оркестр — своеобразный живой орган — из большого количества рогов, длина которых колебалась от 3 дюймов до 3,5 сажени. На каждом роге бралась лишь одна нота, поэтому исполнитель мог и не знать нотной грамоты и должен был лишь считать паузы, чтобы не пропустить своей партии. Роговому оркестру были под силу сложные симфонические и камерные произведения, однако слушать его можно было лишь со значительного расстояния — не менее чем с 300—500 м. Елизавета впервые слушала оркестр в 1757 г. в поле под Иzmайловом<sup>68</sup>. Впоследствии роговая музыка получила распространение в имениях очень богатых помещиков-меломанов, стремившихся поразить гостей диковинным «живым органом», состоявшим из крепостных музыкантов.

При Елизавете больших успехов достиг и театр. Особое место среди видов театрального искусства занимали опера и балет. Начало своего царствования Елизавета ознаменовала грандиозной оперой «Милосердие Титово» (*«La Clemenza di Tito»*), поставленной в праздничные дни коронации Елизаветы в апреле 1742 г. Для представления был построен специальный театр, вмещавший 5 тыс. зрителей, причем, по словам руководителя постановки Я. Штеллина, наплыv был так велик, что «многие зрители и зрительницы должны были потратить по шести и более часов до начала, чтобы добыть себе место». Четыре часа продолжалась опера, в которой наряду с итальянскими певцами впервые приняли участие придворные певчие. Музыку к опере написали Гассе, Мадонис и Даллио<sup>69</sup>.

В 1742 г. в Россию вернулся Ф. Арайя с большой группой итальянских музыкантов и актеров и в течение более десяти лет плодотворно работал над созданием и постановкой опер «Селевк» (1744 г.), «Сципион» (1745 г.), «Митридат» (1747 г.), «Беллерофонт» (1750 г.), «Евдокия венчанная» (1751 г.), «Александр в Индии» (1756 г.) и др. Всего в царствование Елизаветы было поставлено около 30 опер.

Опера середины XVIII в. существенно отличалась от современной и по жанру, и по сценическому воплощению. Наряду с сольным и хоровым пением зрители могли слышать декламацию, видеть балет. Жесткие рамки классицизма определяли ее драматургию. Вот что писал об опере для широкого круга читателей «Санкт-Петербургских ведомостей» Я. Штеллин: «Опера называется действие, пением отправляемое. Она, кроме богов и храбрых героев, никого на театре быть не позволяет. Все в ней есть знатно, великолепно и удивительно. В ее содержании ничто находиться не может, как токмо высокия и несравненные действия, божественные в человеке свойства, благополучное состояние мира, златые века собственно в ней показываются. Для представления первых времен мира и непорочного блаженства человеческого рода выводятся в ней иногда счастливые пастухи и в удовольствии находящиеся пастушки. Приятными их песнями

и изрядными танцами изображает она веселье дружеских собраний между доброуравненными людьми. Чрез свои хитрыя машины представляет она нам на небе великолепие и красоту вселенные, на земле силу и крепость человеческую, которую они при осаждении городов показывают... Речь, которой человеческие пристрастия изображаются, приводит посредством ея музыки в крайнее совершенство, а звук последующих за нею инструментов возбуждает в слушателях тем самыя пристрастия, которые тогда их зренiuю открываются»<sup>70</sup>.

На зрителей середины XVIII в., знакомых в лучшем случае с незамысловатыми эффектами балаганного театра, производила огромное впечатление вся атмосфера оперного спектакля с его целой системой театральных механизмов — «махин» (действия которых были нередко неожиданными), гигантскими живописными декорациями, сверкающими золотом нарядами актеров, музыкой и светом. Для подготовки необходимых «махин» и декораций в 1742 г. был приглашен искусный театральный живописец Джузеппе Валериани (1708—1762 гг.), приехавший из Италии со своим помощником А. Перезинотти. Валериани был определен в русскую службу «чином первого инженера и майора театрального... для изобретения и малерования украшений и машин и управления всего того, что к театру двора е. и. в. потребно будет». Начиная с 1744 г. он оформлял почти все оперные спектакли. Гравюры декораций свидетельствуют о незаурядном таланте этого живописца монументального барокко, отдавшего России почти 20 лет своей жизни<sup>71</sup>.

Увлечение итальянской оперой не прошло даром для русской музыкальной культуры. Уже говорилось о придворных певчих и о том, что их впервые привлекли к оперному спектаклю в 1742 г. Опыт оказался удачным — впоследствии певчие участвовали в постановках и других итальянских опер. Среди певцов (преимущественно украинцев по происхождению) особенно выделялись М. Ф. Полторацкий, М. С. Березовский, Г. Марцинкович, Ст. Ращевский. «Эти юные оперные певцы,— писал Я. Штеллин,— поразили слушателей и знатоков своей точной фразировкой, чистотой исполнения трудных и длительных арий, художественной передачей каденций, своей декламацией и естественной мимикой». В 1758 г. в премьере оперы «Альцеста» участвовал семилетним мальчиком будущий композитор Д. С. Бортнянский. В балетных спектаклях все чаще стали появляться балерины и танцовщики из русских. Их готовили прекрасные балетмейстеры Фоссалино, Хильфердинг, Ланде и др. Как либреттист проявил себя А. П. Сумароков, написавший либретто опер «Цефал и Проксис» (1755 г.), «Селевк», «Альцеста», а также балета «Прибежище добродетели» (1759 г.). Авторами музыки были Арайя и Раупах<sup>72</sup>.

Так с середины XVIII в. постепенно закладывались основы русской оперы и балета, утверждались традиции, та бесценная

преемственность, без которой было бы немыслимо развитие русского искусства в последующее время.

Авторы опер и балетов не смели преступать традицию жанра, исчерпывающую отраженную в публикации Я. Штедлина в «Санкт-Петербургских ведомостях», и не решались ставить опер и балетов на актуальные для современников темы. Однако потребность в спектаклях, доходчиво и эффектно выражавших важные политические идеи, существовала. Ответом на эту потребность было появление специальных прологов, которые показывались зрителю перед началом основного представления. Так, опере «Милосердие Титово», поставленной в честь коронации Елизаветы в апреле 1742 г., предшествовал пролог «La Russia affita e reconsolata» («Россия по печали паки обрадованная»), написанный Я. Штедлином. Пролог (о нем речь шла в первой главе) в аллегорической форме прославлял совершенный Елизаветой переворот. В 1759 г. в честь тезоименитства Елизаветы и победы русской армии при Кунерсдорфе был поставлен пролог «Новые лавры». Теперь только либретто А. П. Сумарокова помогает представить все великолепие постановки Ф. Хильфердинга и грандиозных декораций Валериани. Огромный хор пел на слова Сумарокова канты во славу Елизаветы, а балет сочетался с игрой и декламацией драматических актеров, среди которых блестали Федор Волков и Иван Дмитревский. Последний в образе «объятого облаком» Аполлона так воспевал тогда еще скромные успехи российской поэзии:

Не тем уж местом ты, Петрополь, ныне зrim,  
Где прежде жили фины:  
На сих берегах поставлен древний Рим  
И древние Афины,  
Тут —  
Словесные науки днесь цветут.

Как явствует из либретто, во время пения канта «облака закрывают богов, а потом расходятся и открывают Храм славы. Во храме видима седящая Победа с лавровою ветвию и россияне, собравшиеся торжествовать день сей. Потом слышно необыкновенное согласие музыки. Является российский на воздухе Орел. Россиянин приемлет пламенник и к себе других россиян созывает воспалити благоухание. Нисходит огонь с небеси и предваряет предприятие их. Орел ниспускается и из рук Победы приемлет лавр. Балет продолжается»<sup>73</sup>.

Далекий от реальной жизни и перегруженный аллегориями сюжет, грандиозность и парадность его сценического воплощения, воспевание отвлеченных идеальных добродетелей — все это не делало оперу близкой зрителям. К тому же постановка оперы была сложным и трудоемким делом, поэтому оперные спектакли ставились преимущественно в дни официальных праздников, юбилеев и оставались в ряду экстраординарных действ, подобных фейерверку или параду.

Доступнее и ближе зрителям был драматический театр. Елизаветинское время оставило заметный след в истории русского театра. Именно при Елизавете и в немалой степени благодаря ее увлечению театром указом 30 августа 1756 г. был открыт первый в стране публичный профессиональный театр Ф. Волкова и А. Сумарокова. Посещение театра стало непременной частью всех придворных празднеств. Камер-фурьерские журналы свидетельствуют, что в 1750 г. при дворе Елизаветы было показано 18 французских комедий, 14 русских трагедий и комедий, четыре итальянские и немецкие интермедии и одна опера<sup>74</sup>. Всего императрица посетила в том году 37 представлений, или бывала в театре в среднем раз в десять дней.

Елизавета очень любила театр и увлекалась им с юности. Еще в 30-х годах при дворе цесаревны ставились спектакли, в которых актерами выступали придворные и певчие. Известно, что одна из пьес была написана Маврой Шепелевой. Другая пьеса, поставленная в театре «малого двора», являлась инсценировкой средневекового рыцарского романа «Акт о Петре Златых Ключах» и содержала много параллелей с современным постановке режимом репрессий бироновщины. В пьесе провозглашалась идея об обязанности государя «всех содержать подданных своих в великой милости и царство править со всяким пощажением», недвусмысленно осуждался фаворитизм и политический произвол, сопровождающийся казнями и многочисленными ссылками в Сибирь. Несомненно, актуально звучали со сцены слова Петра в эпилоге, обращенные к подданным:

...всех вас распушаю.  
Сосланных в ссылку везде от tolly возвращаю.  
Напишите манифест, Сенат утвердите  
И в Мальтию скоро всех возвратить велите.

Наконец, следует упомянуть весьма основательное предположение Л. А. Итигиной о том, что в театре Елизаветы ставилась также драма «Акт о преславной палестинских стран царице». Пьеса пересказывала содержание популярной в XVII в. повести о царице Диане, павшей жертвой клеветы и лишенной престола. Лишь преодолев немало трудностей, Диана возвращается на родину с почестями. Оценивая в совокупности репертуар театра Елизаветы, исследовательница считает этот театр «оппозиционным» Анне Ивановне<sup>75</sup>. Это определение не кажется преувеличением. Спектакли шли при закрытых дверях, репертуар театра «малого двора» разительно отличался от репертуара итальянской труппы, ставившей при дворе довольно грубые фарсы об Арлекине и Смеральдине, подобные таким, например, как «В ненависть пришедшая Смеральдина», «Смеральдина-кикимора», «Перелазы чрез забор», «Переодевки Арлекиновы», «Портомоя-дворянка» и т. д.

Содержание пьес, которые в аллегорической, иносказательной форме затрагивали политическое положение в стране, каса-

лись судьбы полуопальной цесаревны, по-видимому, производило большое впечатление на зрителей-единомышленников, на глазах которых происходило театральное чудо победы добра над злом. Оппозиционность театра Елизаветы не была секретом и для Анны Ивановны. В первой главе говорилось, что в 1735 г. был арестован регент хора Елизаветы Петров, которого допрашивали о содержании пьес театра цесаревны. На допросе Петров признался, что «означенная комедия имелась немалая, а именно в той комедии написанные речи говорены были от персон около тридцати». Сам Петров исполнял роль Юпитера. Специалисты утверждают, что в данном случае речь могла идти о переложении античного мифа об Аполлоне и нимфе Дафне, превратившейся в лавр. Кроме того, Петров сказал, что «те комедии бывали в домах у государыни цесаревны в Москве, в Покровском, и в С.-Петербурге, на Смольном дворе, и... посторонних, кроме придворных, никого на тех комедиях не бывало...»<sup>76</sup>.

В создании театра «малого двора», в постановках которого Тайная канцелярия пыталась усмотреть крамолу, нельзя не увидеть противопоставление «большому двору». Не удивительно, что в царствование Елизаветы все виды театрального искусства, и прежде всего драматический театр, получили бурное развитие. Примечательно и то, что идеи пьес театра цесаревны (осуждение террора в отношении подданных-дворян, обязанности государя перед богом и подданными) впоследствии стали ходячими политическими идеями, были развиты в пьесах и публицистике середины XVIII в.

Драматический театр, как и оперный, был связан канонами классицизма: 5-актный спектакль, единство времени и места, «александрийский стих», отсутствие отступлений и т. д. В репертуаре театра центральное место занимала трагедия. В ее задачу входил показ захлестывающих человека страстей, приводящих героев к трагической развязке, кровопролитию, несмотря на неизбежность победы добродетели над злом. В этом и заключался воспитательный смысл трагедии. В. К. Тредиаковский писал: «Трагедия делается для того, по главнейшему и первейшему своему установлению, чтобы вложить в смотрителей любовь к добродетели, а крайнюю ненависть к злости и омерзение ею... надоено отдавать преимущество добрым делам, а злодеяния, сколько бы оно не имело каких успехов, всегда б на конец в попрании». Задача же комедии состояла в высмеивании наиболее типичных человеческих пороков, главным образом бытовых<sup>77</sup>.

Сценическое искусство середины XVIII в. строилось на иных, чем сейчас, принципах. Игра актера была ближе к своеобразной костюмированной декламации, осуществляющей по строгим канонам сценического искусства классицизма. Эти каноны исчерпывающие выражены в книге Ф. Ланги «Рассуждение о сценической игре», являвшейся учебником сценического искусства в середине XVIII в.

Вот как Ланга предписывал двигаться по сцене: «Если актер, будучи на сцене, хочет передвинуться с одного места на другое или идти вперед, то он сделает это нелепо, если не отведет сначала назад несколько ту ногу, которая стояла впереди. Таким образом, нога, стоявшая прежде впереди, должна быть отведена назад и затем снова выдвинута вперед, но дальше, чем стояла раньше. Затем следует другая нога и ставится впереди первой, но первая нога, чтобы не отставать, снова выдвигается вперед второй...» и т. д. Актеру, пишет Ланга, «нужно избегать делать движения рукой перед глазами или очень высоко, закрывать глаза и лицо, которое всегда должно быть видно зрителю, засовывать руку некрасивым жестом за пазуху или в карман и т. д. Никогда не следует сжимать руку в кулак, кроме тех случаев, когда на сцене выводится простонародье, которое только и может пользоваться таким жестом, так как груб и некрасив». Категорически запрещалось «подражать простому естественному разговору, в котором собеседники имеют в виду только друг друга». Прежде чем ответить на услышанные слова, актер был должен «игрою изобразить то, что он хочет сказать», а кончив говорить, не мог «покидать тотчас свое душевное состояние».

Далее Ланга объясняет, как должен актер изображать различные чувства. Например, «в сильном горе или в печали можно и даже похвально и красиво, наклонясь, совсем закрыть на некоторое время лицо, прижав к нему обе руки и локоть, и в таком положении бормотать какие-нибудь слова себе в локоть или в грудную перевязь, хотя бы публика их и не разбирала,—сила горя будет понятна по самому лепету, который красноречивее самих слов». И еще два совета Ланги: «При удивлении следует обе руки поднять и приложить несколько к верхней части груди, ладонями обратив к зрителю... При выражении отвращения надо, повернув лицо влевую сторону, протянуть руки, слегка подняв их, в противоположную сторону, как бы отталкивая ненавистный предмет...»<sup>78</sup>

Все эти правила сценического искусства могут вызвать улыбку современного читателя, но он не должен думать, что театр времен Елизаветы был формален и мертв. Он жил и волновал людей, которые, как и теперь, плакали от сострадания и смеха, с волнением следили, как выходит на авансцену Гамлет и произносит свой бессмертный монолог «Быть или не быть», который вольном переводе А. П. Сумарокова начинался словами: «Что делать мне теперь? Не знаю, что зачать?» Как и зрителей середины XVIII в., нас, привыкших к отточенным переводам Бориса Пастернака, не оставят равнодушными мысли Гамлета о смерти, выраженные языком двухсотлетней давности:

Но если бы в бедах здесь жизнь была вечна;  
Кто бы не хотел иметь сего покойна сна?  
И кто бы мог снести злощастия гоненье,  
Болезни, нищету и сильных нападенье,

Неправосудие бессовестных судей,  
Грабеж, обиды, гнев, неверности друзей,  
Влияний яд в сердца великих льсти устами?  
Когда б мы жили в век и скорбь жила б в век с нами —  
Во обстоятельствах таких нам смерть нужна;  
Но ах! во всех бедах еще страшна она.  
Каким ты, естество, супротивам подчинено!

Перевод (причем с французского) этого монолога принадлежит А. П. Сумарокову, поставившему в 1748 г. трагедию «Гамлет». Кроме названия, некоторых персонажей и большей части цитированного монолога, «Гамлет» Сумарокова не имел ничего общего с «Гамлетом» Шекспира<sup>79</sup>.

Здесь важно отметить, что русский национальный театр времен Елизаветы не был отделен от зрителя непреодолимым барьераً условности классицизма. Он дышал идеями, созвучными идеям общества того времени. В пьесах А. П. Сумарокова смело пропагандировалась идея о том, что не «партикулярные», личные страсти должны владеть человеком, а высокое гражданское чувство. И Гамлет Сумарокова идет освобождать народ от тирании Клавдия и побеждает. Гражданственность проникнуты и трагедии Сумарокова, посвященные древнерусским сюжетам: «Хорев» (1747 г.), «Синав и Трувор» (1750 г.), а также ряд других, которые «составили по существу основу национального трагийного репертуара»<sup>80</sup>.

Лишь в последние 50 лет по достоинству оценено творчество А. П. Сумарокова, в котором увидели не простого эпигона западноевропейской драматургии, переделывавшего на скорую руку модные пьесы, а выразителя идей, которые занимали умы дворянских мыслителей середины XVIII в. Глубокий анализ творчества Сумарокова дан в работах Г. А. Гуковского, связавшего идеи трагедий Сумарокова с течением политической мысли в дворянской среде и считавшего, что он в немалой степени способствовал формированию дворянского мировоззрения, ибо Сумароков «брался объяснить и показать, чего оно (дворянство.—Е. А.) должно требовать от своего монарха и чего оно обязано не допустить в его действиях, наконец, каковы должны быть основные незыблемые правила поведения и дворянина вообще, и главы дворянства — монарха»<sup>81</sup>.

Действительно, трудно иначе истолковать значение диалога Полония и Гертруды из сумароковского «Гамлета»:

Полоний. Кому прощать царя? Народ в его руках,  
Он — бог, не человек в подверженных странах.  
Когда кому даны порфира и корона,  
Тому вся правда власть, и нет ему закона.

Гертруда. Не сим есть праведных наполнен ум царей:  
Царь мудрый есть пример всей области своей.  
Он правду паче всех подвластных наблюдает  
И все свои на ней уставы созидаает,  
То помня завсегда, что краток смертных век,  
Что он в величестве такой же человек...

Прямыми советом Елизавете звучали со сцены слова из сумароковского «Синава и Трувора», очень часто ставившегося на придворной сцене:

От скверных льстивых уст ты уши отвращай  
И в утеснении невинных защищай,  
Храни незлобие, людей чти в чести твердых,  
От трона удалай людей немилосердных  
И огради ево людьми таких сердец,  
Какое показал, имея, твой отец<sup>82</sup>.

Резкое осуждение тирании, фаворитизма, призыв следовать «началам» Просвещения — этот круг идей, отраженных в пьесах Сумарокова, был популярен в дворянской элите, являлся прямым отражением возросшего после реформ Петра I значения дворянства в политической и экономической сферах.

В России середины XVIII в. сумароковские пьесы благодаря их актуальности, простоте и благозвучности стихов были необычайно популярны. Теперь трудно сказать, как относилась к содержанию пьес Сумарокова сама Елизавета — пожалуй, самая усердная зрительница спектаклей по ним. Думается, что, во-первых, Елизавету здесь, как и во многих произведениях барокко, привлекала форма, а также сам процесс театрального действия. Именно поэтому императрица вновь и вновь часами наслаждалась спектаклями, многократное повторение которых приводило в отчаяние ее свиту. Во-вторых, призвы сумароковского Гамлета и других его исполненных гражданственности героев как бы пролетали над головой вообще подозрительной (когда дело шло о ее власти) Елизаветы. Скорее всего она не относила на свой счет эти идеи, будучи искренне убеждена, что является «Матерью Отечества», освободившей благодарный ей народ от тирании российского Клавдия.

Непременной частью всех празднеств были фейерверки и иллюминация. Если иллюминация не представляла собой ничего сложного — в темноте в определенном порядке расставлялись зажженные плошки с жиром, то фейерверки к середине XVIII в. превратились в подлинное искусство со сложным техническим оснащением и представляли собой многозначное барочное, приближающееся к театральному действие, секрет которого был позднее в значительной степени утрачен<sup>83</sup>.

С помощью пиротехники, а также плоскостных и объемных декораций создавались сложные фейерверочные символические и аллегорические фигуры, из которых составлялись фейерверочные группы. В зависимости от замысла фейерверка эти группы вместе или поочередно сжигались. С помощью белых и цветных огней (медленно или быстро горящих) создавалось огромное количество изображений, поражавших зрителя четкостью и красотой. Искусные пиротехники и инженеры создавали не только иллюзию движения, но и движущиеся фигуры и целые группы. Перед зрителями могли появиться движущиеся экипажи,

животные, люди, парящие в небе боги, светила, птицы. Они приводились в движение реактивной силой горящего пороха и сложной системой невидимых в темноте блоков и тросов.

Сопровождаемые иллюминацией, салютом, музыкой, фейерверки, вероятно, представляли собой поистине сказочное зрелище. Из полной темноты внезапно появлялись сад с огненными деревьями; «великий бассейн, огненному озеру подобный, посреди которого стоит статуя, представляющая Радость и испускающая великий огненный фонтан», а вокруг бассейна — «великое множество по земле бегающих швермеров, ракет и других прыгающих по всему сему пространству сада огней, которые своим журчанием, треском, лопаньем и стуком немалую зрителям подают утеху». Но особенно красочными были фейерверки на воде. Часто они устраивались перед Зимним дворцом на великолепной водной площади Петербурга в треугольнике между Петропавловской крепостью, стрелкой Васильевского острова и Дворцовой набережной.

Непременными атрибутами фейерверков были аллегории и различные символы, причем именно благодаря им фейерверки помимо зрелищного, увеселительного значения несли смысловую — точнее, идеологическую — нагрузку. Например, в «увеселительном фейерверке», сожженном перед Зимним дворцом на льду Невы в первый вечер 1756 г., было представлено большое количество различных аллегорических фигур, сосредоточенных вокруг «Храма Российской империи», сиявшего огнями и украшенного транспарантами: «Буди щастлива и благополучна». Зрители могли видеть такие объемные фигуры, как «Любовь к отечеству», изображенная в виде девы в венце из дубовых ветвей и с горящим гербом на груди, «Силу» с мечом, «Постоянство» и т. д.<sup>84</sup>

Фейерверк завершался грандиозным красочным салютом. Прогремел залп из 31 пушки, погасли последние ракеты, медленно поднялся в потемневшее небо густой пороховой дым, разошлись люди, а во дворце уже ярко засветились окна и заиграла музыка — праздник кончился, праздник продолжался.

Мысленно покидая вместе со зрителями это пиршество огня, цвета и звуков, историк невольно сравнивает его с тем, что было при Петре. И тогда публичные зрелища, освещенные барочной символикой и эмблематикой, пользовались огромной популярностью, но они, как и другие праздничные мероприятия, были подчинены определенным идеям: утверждению могущества России, прославлению побед русского оружия, воспитанию подданных светского государства, одним словом, «фейерверочные представления и триумфальные шествия являлись удачными формами широкой пропаганды политики Петра»<sup>85</sup>. При Елизавете традиции публичных празднеств сохранились, но их смысловая нагрузка изменилась. Они утратили глубоко просветительский смысл, стали преимущественно развлекательными зрелищами.